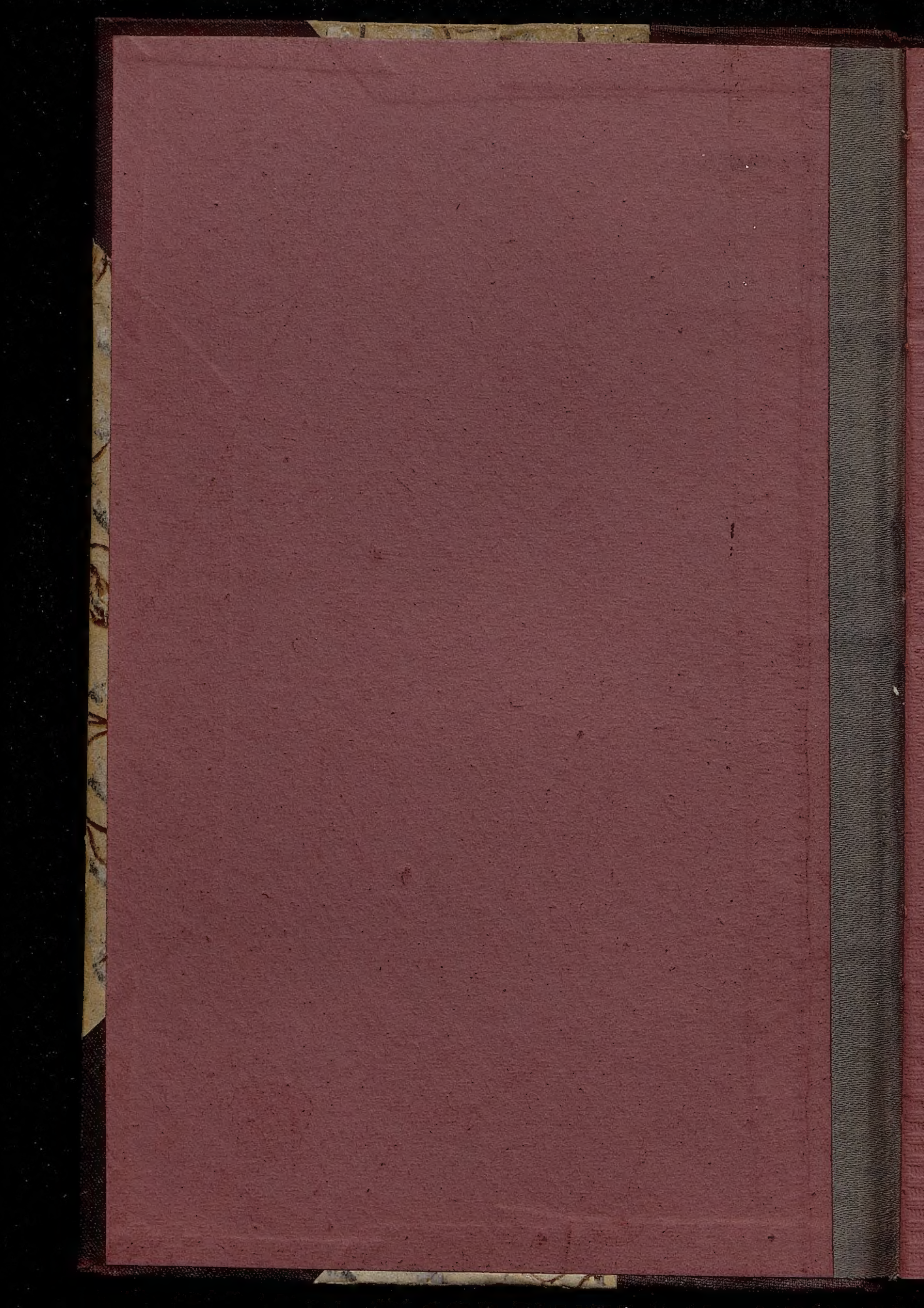
Левидов

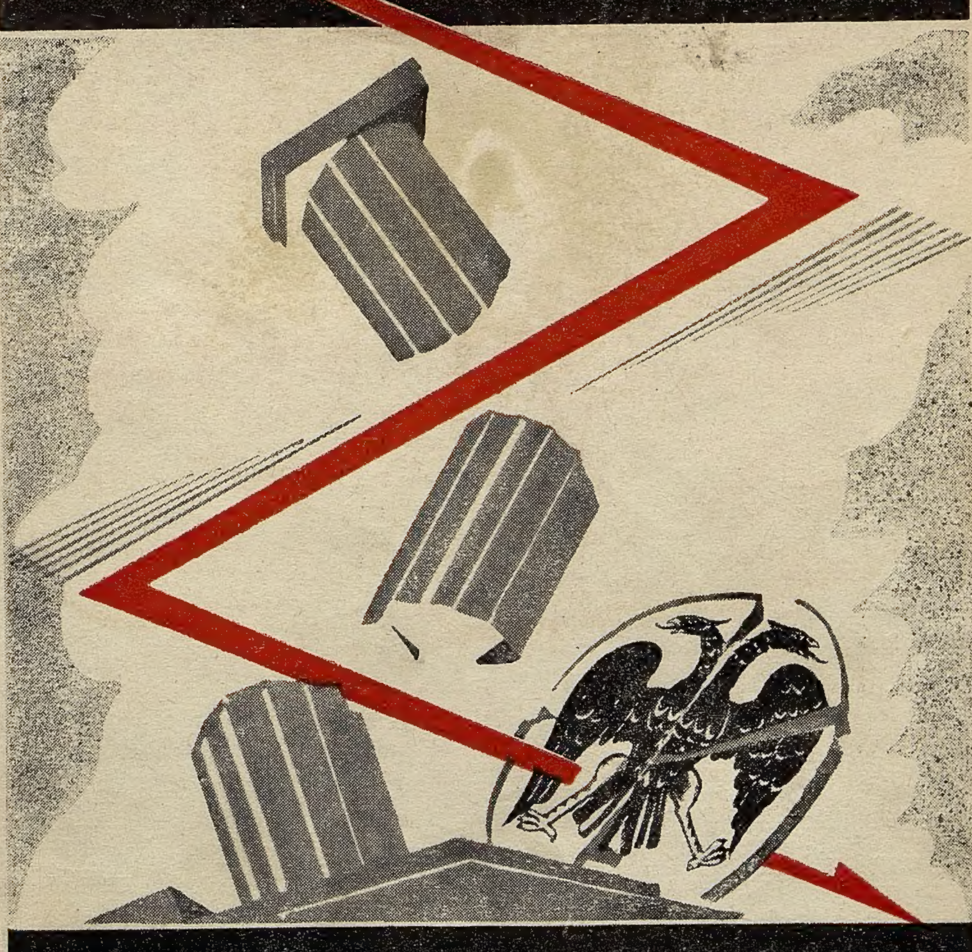
ОРАТОРЫ ОКТЯБРЯ





МИХ. ЛЕВИДОВ.

ОРАТОРЫ ОКТЯБРЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРОЛЕТАРИЙ

92 : 3232 (47) „1917.10" : 8085

МИХ. ЛЕВИДОВ

ОРАТОРЫ ОКТЯБРЯ

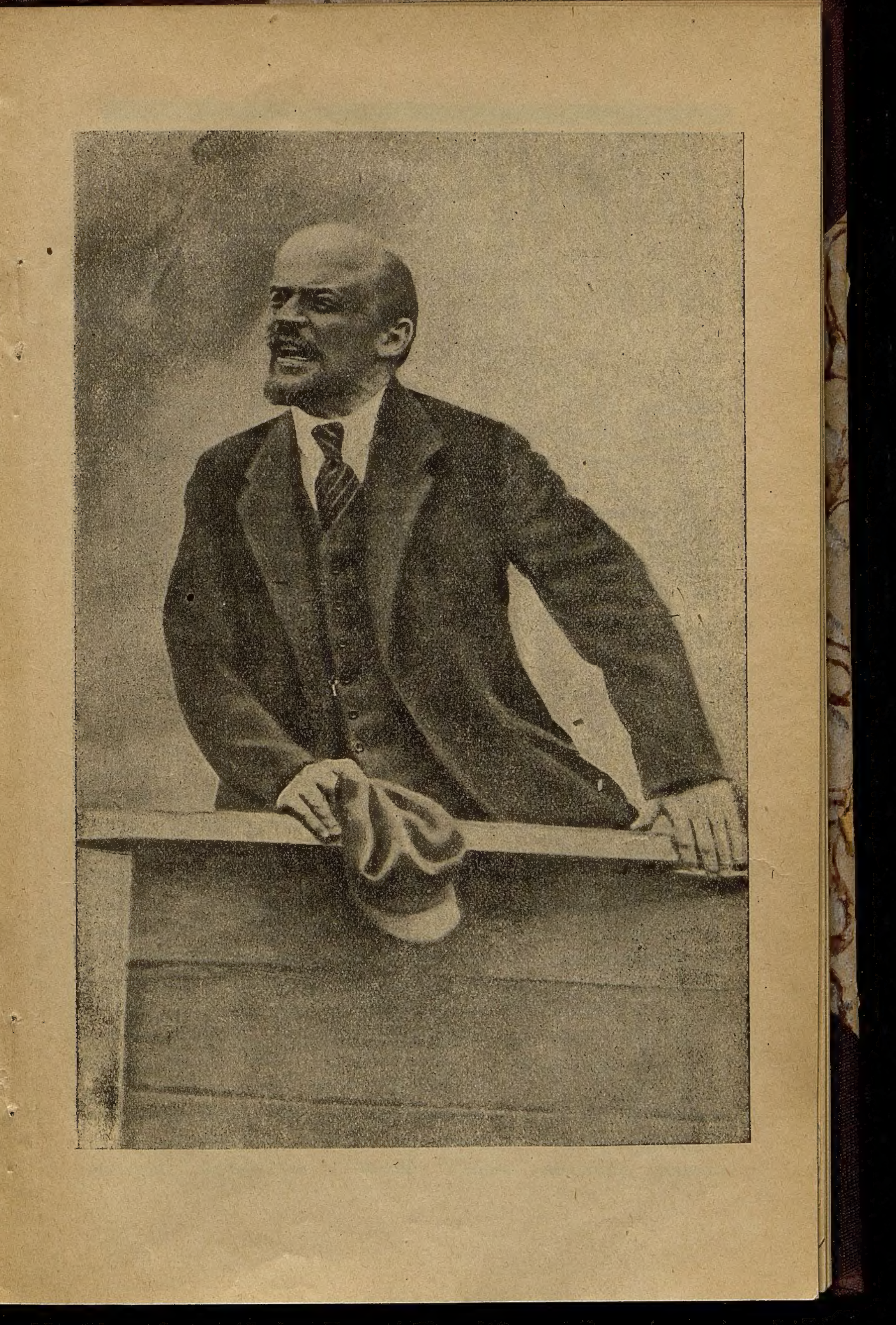
СИЛУЭТЫ, ЗАПИСИ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПРОЛЕТАРИЙ"
1 9 2 5



Типо-Цинкография
Кооперативного Издательства
„ПРОЛЕТАРИЙ"

РУП № 11787 Зак. № 383 Тир. 10.000



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Одолевая океан, броненосец в то же время разрезает волны. Это одна из его функций—необходимых функций. Но, говоря о броненосце, одолевающем океан, говорим ли мы, что он разрезает волны, ищем ли мы здесь, в этой его функции, характерную, главенствующую черту броненосца?

Так и ораторская сторона в личности Ленина. Конечно, он был первоклассным оратором,—броненосец первоклассно разрезает волны,—но как-то не хочется говорить о его ораторской стороне, об этой функции броненосца революции.

Да и притом, почти у каждого оратора Октября его ораторская сторона и функция, если не отделена, то отделима от остального его облика, может быть трактована, анализирована, при некотором усилии, самостоятельно, отдельно.

И вот этого делать нельзя по отношению к Ленину, одному из самых целостных, монолитных, единостержневых людей истории. Ленин, как оратор! Но это значит одновременно—Ленин как писатель; Ленин, как политик; Ленин, как вождь; Ленин, как боец, т. е. в конечном счете—Ленин, как Ленин. А говорить о выполнении этой темы, конечно, не приходится. Эту тему будет выполнять коллективная работа многих сотен людей, в течение многих годов и десятилетий. Одна только попытка чуть-чуть прикоснуться хотя бы к краешку этой темы взорвала бы пределы задуманной мною и предлагаемой читателю работы. Работа эта—очерки, этюды, беглые характеристики, наброски, зарисовки „ораторов Октября". Так, с такой точки зрения, к Ленину не подойдешь.

Разработка этой необозримой темы—Ленин,—притом уже началась. Уже очень много сказано и написано о Ленине, и в частности, о Ленине, как ораторе. Ряд исследований молодых филологов о языке Ленина является ценным

материалом для работы над этой стороной ленинской темы. И поскольку этот материал дан людьми, близко стоявшими к Ленину, либо специалистами в теории слова,—я, не входя ни в одну из этих категорий, не считаю себя вправе сколько-нибудь увеличивать этот материал. Думается, что эти соображения удовлетворительно об'ясняют вопиющий на первый взгляд пробел: отсутствие среди очерков об ораторах Октября очерка, посвященного Ленину.

Что же касается очерков, составляющих первую и основную часть данной книги, то необходимо, в первую голову, отметить, что они рассматриваются автором, именно как материал для будущих исследователей, будущих Оларов. Материал современника и свидетеля. Я не только неоднократно слыхал и тщательно наблюдал всех ораторов, о которых идет здесь речь. Я записывал их речи для передачи на страницах газеты. В качестве референта „Новой Жизни" я „записывал революцию" с апреля 1917 года по июль 1918 года и присутствовал за этот период времени на всех без исключения с'ездах, совещаниях, конференциях революции, в том числе на пяти с'ездах советов, на Московском Государственном и Демократическом Совещаниях, на заседаниях Предпарламента и, наконец, на открытии Учредительного Собрания. Я получил, таким образом, богатую возможность ознакомиться с ораторской стороной нашей революции. Эту возможность я постарался использовать, и плодом моих стараний явились предлагаемые очерки. Они, конечно, не претендуют на сколько-нибудь исчерпывающий характер. Перед читателем—наброски, часто импрессионистические зарисовки, в которых я старался дать силуэты наиболее выдающихся ораторов нашей Октябрьской революционной современности на фоне колорита эпохи. Как материалом, я старался, по мере возможности, пользоваться теми речами, которые я сам слышал, зачастую реферировал. В этих очерках, далее, я не касаюсь содержания цитируемых речей. Это выходило бы за пределы поставленной задачи. Встречающийся в очерках приблизительный анализ—носит полуформальный характер. Но, с другой стороны, я не мог избегнуть некоторого психологизма; чисто формальный анализ превратил бы эти очерки в научную диссертацию, каковой я не имел ни возможности, ни охоты писать, памятуя, что

исследование красноречия революции, с точки зрения формального анализа, является делом специалистов в этой области.

Остается добавить, что поставил я себе задачу дать силуэты именно ораторов Октября. Такие крупные деятели Октябрьской революции, как Сталин, Рыков, Дзержинский, Красин, Чичерин, естественно, не могли быть включены в поставленные рамки.

Вторая часть этой книги — „Дни Октября“ — имеет свою небольшую историю. *Эти мемуары об Октябрьском перевороте были написаны мною спустя год после переворота, в октябре 1918 года.* По авторскому заданию, они должны были явиться лишь первыми главами мемуаров, покрывающих весь период октября 1917—июля 1918 годов. Ряд причин помешал осуществлению этого плана, и эти главы, обрывающиеся почти на полуслове, остались без продолжения.

Мне кажется тем не менее, что я не делаю ошибки, предавая их сейчас гласности, опять-таки в качестве материалов свидетеля, очевидца. О психологически-бытовой стороне Смольного во время переворота ничего почти не написано, за исключением книги Рида. Известную ценность эти записи будут представлять и для будущего историка, и для тех, кому Смольный и эти дни и теперь уже представляются историей.

Эти записи являются естественным логическим дополнением „Ораторов Октября“. В обеих частях говорится, за немногими исключениями, о тех же самых лицах; то, что является фоном первой части,— революционная атмосфера,—служит сюжетом второй части, и наоборот, стержень первой части,—ораторская сторона революции,—фигурирует в качестве фона во второй части. Но разделяет эти две части не только время, протекшее между написанием их, а, безусловно, и некоторые нюансы в настроениях писавшего.

Эти записи были сделаны шесть лет тому назад, исключительно по памяти, и воспроизводятся сейчас мною без каких бы то ни было изменений и исправлений. А таковые исправления потребовались бы... Раньше всего—со стороны исторической. Опубликованные за эти шесть лет исторические материалы свидетельствуют, что я допустил много фактических ошибок—просто по неведению. И, наоборот, многие из сообщаемых фактов, которые не были известны шесть лет тому назад, за это время были подтверждены из авторитетных

источников, многие из высказанных мною предположений оказались верными. Вносить теперь коррективы в эти записи—значило бы пытаться придавать им характер чуть ли не исторического исследования. Этого я делать не намерен, и поэтому ограничиваюсь тем, что оговариваю в примечаниях наиболее грубые ошибки и заблуждения.

Но исправления потребовались бы не только с исторической стороны. 1918 год—это не 1924 год, и шесть лет, особенно таких лет, ни для кого не проходят даром. Если бы я писал эти мемуары теперь, я написал бы их несколько иначе. Но они были написаны в 1918 году, и этим все сказано. „Подновлять" их—нет никакого смысла; они потеряли бы тогда свое значение некоего психологического документа: смею надеяться, что это значение будет за ними признано. Указания на „интеллигентскую" психику лица, делавшего эти записи,—будут, конечно, вполне справедливы. Что-ж, от наследства предреволюционной эпохи, каковым является эта психика,—отказываться не приходится, и еще менее годится подправлять эту психику задним числом.

Наконец, замечание технического свойства. Авторитетные товарищи, знакомые с этими мемуарами, указали мне на некоторое их совпадение с отдельными местами книги Рида. Это вполне понятно: я встречался с Ридом весьма часто в Смольном в дни переворота, мы обменивались впечатлениями, и мы подходили к событиям приблизительно с одинаковой точки зрения,—Рид тогда еще не был коммунистом,—с точки зрения сочувствующего наблюдателя.

Эти несколько замечаний о характере первой и второй частей данной книги и о целях, ставившихся автором, будут, мне кажется небесполезны для читателей и критиков. Ибо суд читателя и критика тогда справедлив, когда он берет в основу намерения, стремления и цели автора. Это незыблемое правило особенно уместно применить к данной работе.

В конце книги прилагается статья тов. А. Гуровича, дающая несколько обще-теоретических положений по вопросу об ораторском искусстве вообще и о природе политического красноречия. Статья эта написана независимо от „Ораторов Октября".

Мих. Левидов.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОРАТОРЫ ОКТЯБРЯ



В. ВОЛОДАРСКИЙ.

Ноябрь 1917 года в Питере был мрачным месяцем. Ветер хлестал кнутом, дождь лил неутомимо, слякоть на улицах удручала. Электричество горело нехотя, светило приглушенным, мрачным светом, угрожая погаснуть каждую минуту. В домах и помещениях было холодно—Питер словно приучался холодать,—и повидимому, для того, чтобы обмануть холод, и предвестники голода—в Питере много курили.

В казармах одного из питерских полков, участвовавшего в мартовской революции и пережившего скучно и мрачно (это называлось—нейтралитет) Октябрьскую революцию, в этих казармах, помещавшихся на одной из улиц вблизи Литейного—ныне проспект Володарского,—табачный дым боролся с вялым, нехотя горевшим светом электричества, и побеждал его. В казармах было людно, дымно и тускло, а воздух нависал свинцом.

В моем журналистском блокноте было немного записей. То, что происходило в наших казармах, с точки зрения газетной, не являлось особо важным политическим событием, а ту трагедию, которой я сейчас был свидетелем—одна из многих трагедий Октября,—не было нужды записывать, я и так знал, что не забуду о ней.

В сущности говоря, лишь очень условно можно было назвать это трагедией. Для историка это было бы лишь трагическим фарсом, исторической гримасой. Историку нет дела,

что Ю. О. Мартов, около которого я сидел в этот людный, тусклый и дымный вечер,—любил всем сердцем своим и всем мозгом своим—революцию и социалистический идеал. Историку есть дело лишь до того, что в этот дымный, тусклый и людный вечер Ю. О. Мартов, выступавший в казармах одного из питерских полков на одной из улиц вблизи Литейного—ныне проспект Володарского,—выступавший вместе с другими ораторами от различных политических партий по текущему моменту, испытал в этот вечер еще раз то самое, что ему пришлось потом испытывать постоянно и постоянно: состояние человека, выброшенного за борт стихией революции. Мартов только что окончил свою речь, типичную свою речь, построенную и сказанную так, как будто бы вся двухтысячная солдатская аудитория состояла из таких же, как он, Мартовых,—остроумных шахматистов от революции, обидевшихся, что партнер играет не по правилам, написанным в лучших руководствах, и жалобно протестующих... А двухтысячная аудитория серяков в солдатских шинелях, расстегнутых гимнастерках, с безнадежными серыми лицами, в тоскливо-серых обмотках, людей усталых самой тяжелой усталостью—усталостью безнадежного непонимания, тоскливого недоумения,—смотрела на Мартова во время его речи пустыми глазами. Заключительный возглас его, долженствовавший быть ярким, бодрым, революционным призывом:—да здравствует учредительное собрание!—расплылся в тусклом море табачного дыма и свинцового воздуха. Мартов сел на место с улыбкой на губах: защитного цвета иронической улыбкой. Увы, ему совсем не хотелось смеяться...

А после него выступил оратор партии большевиков.

Для этого оратора двухтысячная аудитория—словно один человек. И не то, чтобы этот один человек был ему близким другом, как это могло показаться с первых слов его полной естественной простоты речи; нет, но то, что он хотел сказать этому человеку, ему самому казалось таким простым, естественным и нужным, таким понятным и убедительным, и говорил он это с такой убежденностью, что нельзя было отделаться от впечатления, что это вовсе не политическая речь... Так говорит десятник со своими рабочими, когда вдруг замечает, что леса на строящемся доме грозят обвалиться, и нужно спешно поставить подпорки, или отделенный на фронте своему

взводу, когда нужно перейти в наступление и выбить врага из этой траншеи, а то будет хуже: говорит очень серьезно, очень страстно — положение, ведь, критическое, — и, главное, говорит так, что дело, о котором он говорит, становится делом—хочешь не хочешь, каждого, кто слушает...

А он в своей речи апеллирует не только к инстинкту стадного самосохранения. Речь, ведь, политическая. И непосредственно этой аудитории, которая начинает оживать, волноваться, понимать—ничего как будто не угрожает... Но вот выходит так, что все эти политические вопросы—власть Учредилки, или власть Советов, программа большевиков или программа меньшевиков, немец на Западе, или Каледин на Дону,—что это все их страшно близко касается, еще ближе, чем вопрос о солдатском пайке или земельном наделе—об этих вопросах он также говорит. Говорит он очень быстро, но еще более внятно, так внятно, что в казармах становится как будто бы светлее, так внятно, что каждое слово убеждает, или, может быть, он так убежденно говорит, что каждое слово становится внятным, говорит, не повышая и не понижая голоса, все время на одной чистой, высокой, пронизывающей металлической ноте, которая физически врезается в слух и сознание, говорит с непреодолимой настойчивостью, и речь его становится натиском... Да и во всей фигуре его, невысокой, тонкой, ловко сделанной фигуре, в его узком, удлиненном гордом лице с чистым открытым лбом, острыми глазами, выразительным орлиным носом, в его маленькой, но сильной руке, как и в голосе, как и в жесте, как и во всем облике, — упорный, настойчивый и, вместе с тем, страстный натиск.

На рыхлую и вялую аудиторию, которая уже выслушала несколько политических речей, эта речь, этот натиск—действуют. И то, что его слова действуют на аудиторию, еще более действует на оратора. Речь становится еще более настойчиво-убежденной, настойчиво-убедительной, настойчиво-страстной. Оратор говорит сейчас о тех, о той партии, которую он ненавидит со всей силой своей настойчивой страсти, о тех, кто путается под лесами, угрожающими падением... Он смотрит на представителя этой партии, около которого я сижу, на Мартова. Словно заговорившее артиллерийское орудие, поливает он его шрапнелью острых, вонзающихся, гневных, жестоких слов, разрывающихся и ранящих жестоко и больно...

Я понимаю, он не может не говорить этих слов,—ведь Мартов для него человек, путающийся под лесами, и его нужно убрать, но слова эти несправедливы по отношению к Мартову лично... И Мартову больно и обидно: бешено протестуют все 25 лет его, Мартова, социалистической работы, которую обессмысливает сейчас вот этот настойчиво-страстный человек. Мартов оскорблен, Мартов вскидывается, Мартов хочет больнее нанести ответный удар, он кричит ему в лицо, со всей силой иронии и презрения, которую может собрать раненый на смерть:

— Вы далеко пойдете, молодой человек!

Оратор небрежно машет рукой в его сторону, и не ослабевает его настойчивый натиск...

Этот „молодой человек" пошел и дальше, и ближе, чем думал Мартов. Он пошел так далеко, что через полгода не было в Питере ни одного рабочего, которому не было бы близко и дорого его имя, но был его путь короткий и близкий к концу, ибо через полгода настигла его пуля убийцы.

Этот оратор был Володарский.

Ничего от ритора, от декламатора не было в ораторском таланте Володарского. Его речи были насыщены всегда суровой, спартанской простотой. Ни одной метафоры, ни одного украшения, ни одного цветка изящного оборота. Аскетические речи. У него и слов было мало. Но какие были эти слова! Они звенели железом и лязгали сталью. И немудрено. Не оратор он был, а человек всегда в бою, оружием которого было слово—в самом прямом, точном и буквальном смысле. Всегда можно отделить оратора от человека, но мне не удавалось это сделать у Володарского. Мне довольно часто приходилось говорить с ним в эти дни в Смольном, и он говорил со мной, как будто я был аудитория. Так он говорил с каждым. Он был неотделим от самого оружия—настойчиво-страстного слова, как средневековый рыцарь от своего копья и панцыря.

Конечно, он не был оратором, ищущим образа, комбинирующим выражения. Разве, когда в бою, когда и режешь, и рубишь, и колешь—думаешь о красоте удара? Он должен быть

силен и меток—это все. А сила и меткость ораторского искусства Володарского всегда казались „вещью в себе“. В его красноречии нельзя было отделить форму от содержания, одежду от тела, ибо было одно только содержание, одно только тело. Нет, не оратор он был в нашем современном смысле слова, знающий „приемы ремесла“, если хотите, трибун, единственный трибун русской революции. В древности Володарский назывался бы пророком, не пророком времен упадка, который посыпал себе пеплом главу и проклинал свою греховную паству, а пророком воинствующего Израиля, который призывал металлическим звуком, далеко отдававшимся в горах, на последний и решительный бой с филистимлянами, и сам брал в руку пращу.

Быть может, еврейское происхождение Володарского тому причиной. Факт тот, что в его речах можно найти много библейских оборотов. Они не были специально придуманы Володарским, не такого склада человек был он, чтобы записывать на бумажечку ударные места...

Но послушайте, как звучит этот период:

...„Если вы хотите кнута—голосуйте за учредительное собрание...

Если вам надоело ходить без ярма, и снова хочется надеть хомут—голосуйте за учредительное собрание...

Если соскучилась ваша шея по пинкам и тумакам, и тоскуют ваши щеки по ударам,—голосуйте за учредительное собрание“...

Этот широкий, эпический ритм фразы — несколько чужд городскому оратору, оратору ускоренного, драматизированного темпа, который, конечно, предпочел бы дать естественное нарастание, повторив три раза „если“ и лишь один раз дав ударный момент—„голосуйте за учредительное собрание“... Характерно, что и у Володарского—эпический ритм не повседневный прием. Но в данном отрывке он с бессознательным искусством выдерживает его до конца, усиляя его совершенно изумительным образом, кажущимся таким нужным и естественным здесь—в этом отрывке, и таким чуждым—индустриальному городу: „Если тоскуют ваши щеки по ударам“... Разве не была бы на месте эта фраза в устах ветхозаветного Моисея, разве не выдерживает она сравнения со знаменитым образом— „Мясные горшки вам дороже...“

Он сам был подлинным пролетарием—Володарский, он был марксистом, и образованным марксистом, он отдавал себе,

конечно, отчет в движущих силах Октябрьской революции... И все же, атавистическим своим существом, сближавшим его — большевистского трибуна с тысячелетней культурой еврейства, подсознательным его существом, уводившим его в даль веков, мыслил он, быть может, Октябрьскую революцию в какой-то отдаленной ее сущности,—как исход евреев из Египта...

Наклонность к эпосу прорывалась у Володарского совершенно неожиданно: ко всякому эпосу. В прекрасной его „Напутственной речи агитаторам“, идеально простой, сурово-целомудренной, прямой и острой, как туго натянутый стальной канат,—сверкает вдруг былинный оборот:

„Был Каледин—он спит в сырой земле, Назаров—сложил буйную головушку“...

И в этой же речи дает он пример своей иронии...

Это не утонченная, аристократическая ирония Троцкого, напоминающая изящный, тонкой ажурной работы, стилет, с отравленным острием, и не ирония Ленина—размашистая, буйная, посыпанная крепкой мужицкой солью, толстовская.

Володарский говорит о меньшевистском предложении ликвидировать безработицу путем возврата к капитализму:

— Если у тебя работы мало, возьми Мартова и Дана, спрячься за их спиной, беги к Путилову, пусть Мартов встанет на колени, Дан прошибет пол своим лбом и упросит Рябушинского и компанию взять скорее обратно фабрику или завод...

Образ примитивный, наглядный, почти фотографический, ирония, рассчитанная не на умственную ассоциацию, а на зрительное восприятие, ирония гневная настолько, что она уже не ирония, а проклятие, подлинно эпическая, библейская ирония...

Будущий исследователь нашей эпохи будет изучать речи Володарского под особым углом зрения, как прекрасный социально-психологический документ... В них он найдет отражение психологии воинствующего большевизма. И, что еще важнее, воинствующего и побеждающего большевизма. Этим выделяются речи Володарского в истории революционного красноречия всех времен и народов... Ибо, когда думаешь о Володарском, хочется вспомнить о Томасе Мюнцере, о Фра-Дольчино, об ораторах левеллерсв и средневековых коммунистических сект. Как их устами, так и устами Володарского, говорил раньше и громче всего—голос угнетенных,

восставших против угнетения. Как у них, так и у Володарского, есть одна только идея—идея-сила, идея борьбы за социальную справедливость, отметающая все остальное. Как у них, так и у Володарского, эта идея-сила становится пафосом тем более мощным, что этот пафос библейски суров, целомудренно аскетичен, лишен погремушек внешнего красноречия... Как у них, так и у Володарского, пафос этот был насыщен чувством гнева и мести, неутолимым, непреклонным, без компромиссов... Как у них, так и у Володарского, отношение к революции, к своему делу—было отношением настойчивой страсти, не той, которая взметывается фейерверком, и разлетается копотью и смрадом (Керенский), а той, в которой точка кипения сближается с температурой нуля, той, которая обжигает своим холодом, сжигает огнем и всегда остается одной и той же, постоянной, действующей, динамической... Как их, так и Володарского, филистеры, мещане, мелкие буржуа всех времен и народов—называют узколобыми и ограниченными фанатиками, не умея понять, что подлинными героями человечества являются они, эти „фанатики", эти люди насыщенные до последнего нерва своей единой целеустремленной волей,—волей к активной борьбе за справедливость...

Но одно только отличие между теми и Володарским. Он родился в счастливую эпоху, когда социализм из утопии стал наукой, а из науки действенной жизненной силой. Революционный пафос Володарского, его стихийная воля к активной борьбе за справедливость были примкнуты, как электрический ток, в машину марксистского мышления, были, как сталью, скованы законами осуществляющейся революции, революции в ходу... Для него была ясна цель и ясны пути к ней. Оттого еще выше взлетел его пафос, еще больше закалялась его воля. И оттого, как никого другого, любили его друзья и ненавидели враги.

Володарский не только разрушал, но и строил, ибо не только разрушала, но и строила с первых же дней Октябрьская революция. Как у героев библейских легенд, отстраивавших храм перед лицом врага,—в одной руке были у него праща и меч, в другой—заступ и мотыка, одной рукой он метал камни в врага, другой закладывал каменный фундамент нового здания.

Так он и погиб, в возрасте 27 лет, Володарский, человек настойчивой страсти, трибун воинствующего большевизма...



Я. М. СВЕРДЛОВ.

„Я не намерен хлесткими словами, как бы хлестки они ни были, взывать к вашим чувствам, бить на ваши нервы. Я не намерен этого делать“.

И это не было хлесткой фразой. Он этого не делал. Чувства? Нервы? Этого для Свердлова не существовало. Для Свердлова, вообще говоря, существовало только одно чувство,—чувство пользы для революции, только одна мысль—мысль о пользе революции... А что касается нервов,— то какие же нервы во время гражданской войны и революции...

Так что Свердлов совершенно серьезен был, когда он произносил вышеприведенные слова. Это было 14 мая 1918 г., в заседании ВЦИК'а 4-го созыва, совместно с Московским Советом и представителями профсоюзов и завкомов. На этом заседании, происходившем в Большем театре, значит, заседании торжественном, делал доклад по вопросам о внешней политике Советской Республики Ленин, а с заключительным словом выступил вместо докладчика председатель ВЦИК'а Свердлов.

Выступление 14 мая было одним из немногих ораторских выступлений Свердлова, этого самого молчаливого оратора Октября. Да и было ли оно ораторским выступлением? Был ли Свердлов оратором в том смысле, какое мы приписываем этому слову в данных очерках?

Как будто бы и нет... Как будто бы Свердлов был лишен основного момента психологии каждого оратора — любви

к слову, которая так незаметно и так часто переходит в соблазн слова, опьянение словом. Но Свердлов и соблазн, Свердлов и опьянение,—смешно и подумать...

Этот трезвенник революции был трезв во всем и всегда. Он был трезв в своей одежде—на все пуговицы застегнутой черной кожаной одежде, сверкавшей ровным, спокойным, но ослепительным черно-матовым блеском; он был трезв—этот на все пуговицы застегнутый большевик в своем жесте,—да был ли жест у него?—был у него трезвый голос—голос как будто из одной только ноты состоявший—ноты трезвого, спокойного, равномерного и размеренного удара стального молота о стальную наковальню; было трезвым его лицо,—лицо человека, для которого индивидуальное человеческое лицо было лишь случайной подробностью, и неважной к тому же, лицо человека—массы, сознательной массы, лицо трезвой революционной стихии, организованной стихии, введенной в железные берега стихии...

И, конечно, только этот воплотитель трезвой революционной стихии мог делать то, что делал Свердлов, и так, как делал Свердлов.

Время март—июнь 1918 года было одним из самых интересных периодов в истории октябрьской революции. И для будущих Минье, Мишле и Ламартинов, пожалуй, самым красочным периодом. Это был период начала интервенции, подготовки гражданской войны. Никогда советская власть не была так одинока и, казалось, слаба, как в этот период, начавшийся ратификацией Брестского мира и закончившийся убийством Мирбаха, 5-м с'ездом и восстанием левых эсэров, период правой эсэровщины и „левого коммунизма“, период, когда серьезным врагом, против которого производились стратегические наступления, были банды „анархистов“, занявших московские особняки, период, когда на трамвае „А“ можно было об'ехать главную базу советской республики; когда левый эсэр Карелин (в каком совнархозе он сейчас служит?) милостиво оппонировал Ленину, анархист Ге принимал революцию, поскольку это было угодно его анархическому величеству; когда, сидя в бывшей гостинице „Элит“, что в Петровских линиях, англичанин Локкарт пользовался своей „дипломатической неприкосновенностью“ для организации взрывов мостов

и покушений; когда разгуливал Савинков по Москве „бритый и в тужурке защитного цвета“; когда „вносили беспорядок в революцию“, по выражению стенографистки ВЦИК‘а 4-го созыва, Мартов и Дан, Суханов и Абрамович; когда Радек в свободную минуту от агитации всего мира по радио,—увы, эта агитация доходила только до слухачей на европейских радиостанциях,—агитировал, сидя в кафе Бом, на Тверской, с револьвером в одном кармане и томиком Гете в другом—немецкого журналиста, христианина и революционера, Альфреда Паке и английского журналиста, искателя сильных ощущений, Артура Рэнсома; когда каждая московская буржуазная квартира была клубом кокаинистов и ячейкой контрреволюции; когда все дорожал и исчезал белый хлеб, и все дешевле становилось и больше было на рынке человеческой крови...

Но никогда, как именно в этот период одиночества, и кажущейся слабости советской власти, не были так героичны усилия, застегнувшись на все пуговицы и сжав зубы, скрепить расползавшуюся революционную стихию, пронизать ее всю стальным стержнем.

Такой скрепой и стержнем была в большой степени деятельность Свердлова, секретаря ЦК и председателя ВЦИК‘а. Я имел возможность наблюдать его деятельность во ВЦИК‘е в этот период, период трехмесячного „советского парламентаризма“. Осуществлялся этот парламентаризм в одной из зал бывшего Метрополя, ныне 2-й дом советов, в зале, где до Октября был кафе-шантан, а ныне помещается кинематограф Госкино. И выражалось осуществление в том, что „вносили беспорядок“ в заседания меньшевики Мартов, Суханов, Дан и Абрамович и говорили на каждом заседании впопад и невпопад об учредительном собрании правые эсэры—Коган, Бернштейн, Ильин, Лихач и Дислер...

А кончился этот период парламентаризма 14 июня 1918 г., когда были исключены из состава ВЦИК‘а меньшевики и правые эсэры, и когда сказал Мартов с пафосом трогательным и суб‘ективно-благородным, но, увы, анти-историческим и об‘ективно-контр-революционным: „После каждого из нас восстанут тысячи, горе вам“...

И всю тяжесть этого „парламентаризма“ выносил на себе Свердлов, и тогда вот он и показал те свои качества,

которые заслужили ему прозвище „железного канцлера русской революции“.

Сколько я ни наблюдал его на этих бурных заседаниях ВЦИК'а, в моменты, когда волнение залы грозило, казалось, перелиться через берега,—он всегда был стальной плотиной, о которую разбивались эти волны. Нельзя было сказать про него, что он не терял хладнокровия и спокойствия, как нельзя сказать про молот, приводимый в движение бесконечной силой, что он не теряет размеренности и ровности своего движения, что бы ни происходило в мастерской кругом.

Свердлов оперировал ясными, короткими и точными словами. Когда кто-либо из правого крыла обрушивался на советскую власть со всей силой критики злобного бессилия, и приходило в неистовство большинство собрания, Свердлов лишь улыбался уголком губ: он знал, когда ему нужно вмешаться и остановить оратора. И он знал больше, знал, что его нельзя не послушаться, несмотря на то, что не существовало сколько-нибудь точного регламента ведения заседания, и лишь одному Свердлову было известно, что, в сущности говоря, можно говорить и чего нельзя, до какой степени политической ярости можно дойти и где нужно остановиться.

И Свердлова слушались меньшевики и правые эсэры. Когда на последнем заседании ВЦИК'а шли дебаты о их исключении, когда им, казалось, терять больше нечего было, и можно было „выговорить всю душу“, Дан в своей последней речи употребил „непарламентское“ выражение, сравнительно мягкое.

Но Свердлов не счел это слово приемлемым:

— Прошу вас выражаться немного осторожнее и взять свои слова обратно,—обратился он к Дану с джентльмэнской вежливостью, словно дело происходило в торжественном заседании английского парламента.

И Дан,—ему нельзя было отказать в политической смелости в этот период, и он не взял бы обратно своей политической деятельности, ставившей его все время под карающий удар революции,—растерялся от этого холодного спокойного звука голоса, насыщенного стопроцентным металлом. Он пробормотал:

— Я беру свои слова обратно...

Простые, ясные, короткие, и точные слова. Этими словами оперировал Свердлов не только в качестве председательствующего, но и как оратор. Его речи не только немногочисленны, они и коротки. Представить себе Свердлова говорящим три—четыре часа—невозможно, ибо невозможно было себе представить, что есть такая вещь на свете, для об'яснения которой потребны три—четыре часа. Для Свердлова, очевидно, таких вещей не было.

В заседании 1 апреля Свердлов выступает докладчиком по вопросу о выработке советской конституции. Всего около получаса длится его доклад, но у неподготовленного даже слушателя создалось впечатление, что тема исчерпана—эта тема, представлявшая неисчерпаемые возможности водолития. Дело в том, что в этой речи не было ни одного лишнего эпитета, и вообще ни одного эпитета, ни одного отклонения, ни одного самого естественного даже скачка мысли в сторону, ни одной случайной логически, но законной, и обычной в ораторской речи ассоциации. Это была чрезвычайно, максимально уплотненная речь, речь, как железо-бетонная кладка, где нет ни одного пустого промежутка, ни одного полого места, ни одной скважины, ни одной трещины, речь—непроницаемая для воды.

Лирики не любил Свердлов. Это ни к чему. Ибо он знал, что в периоды революции—лирика всегда на грани истерики. А истерика была не меньшим врагом для Свердлова, чем контр-революция...

На одном из заседаний ВЦИК'а было заслушано приветствие представителя Украинского ЦИК'а. Украина находилась в это время под германской оккупацией, была накануне скоропадчины. Приветствие представителя Украины было насыщено типичной революционной фразой. Это было вполне естественно. Была лирика, была и истерика.

Отвечал на приветствие, в качестве председателя ВЦИК'а Свердлов.

— Позвольте мне от лица ЦИК'а, от всего трудового народа, представляемого ЦИК'ом, выразить самое горячее сочувствие украинскому народу в его борьбе за полное господство во всем мире трудового народа. Если мы в настоящее время лишены возможности в силу ратифицированного мира помочь нашим братьям, это не значит, что не хотим помочь.

В добавление к словам товарища скажу: Да здравствует мировая коммунистическая революция!

Немного. Сухо. Почти формально. Но сколько выдержки, твердости, насыщенности спокойной силой в этих немногочисленных, сухих, почти формальных словах... Так именно говорит сжавшая зубы на момент „передышки“ революция, так именно звучит голос взнузданной стихии. Когда такой человек говорит: „да здравствует“, то каждый слышит, что он всю жизнь отдаст, чтобы здравствовала революция, и этого же потребует, сухо, просто и спокойно, без лирики и истерики,—от каждого...

Да, у Свердлова не было любви к слову, как таковому. Но у него было другое качество, которое делает его одним из примечательнейших ораторов Октябрьской революции. Он относился к слову, как к поступку, действенному акту. Слово—не символ, а факт. И существует только такое слово, какое может существовать, как факт. А факты—сухи, определенны, лаконичны, деловиты. Таковым, значит, должно быть и слово. Таковым и было слово Свердлова.

В памятный день, 5 января 1918 года, день, когда родилось и умерло от старческого маразма и истощения Российское Учредительное Собрание, на председательскую трибуну Таврического дворца поднялся небольшого роста человек, с железным лицом, в черной кожаной, точно металлической одежде. Мы, сидевшие в ложе журналистов, замерли. Мы почувствовали: вот, начинается настоящее.

Это было так. На трибуну поднялся в образе человека—железный революционный факт, спокойный, но неумолимый. Болото псевдо-революционной истерики, заливавшее залу, поддалось и осело перед лицом этого факта. Зазвенел колокольчик. Раздались металлические слова—слова, которые были фактами, делами...

Этот железный факт в образе человека—был Свердлов; тот, кто был олицетворением дела Октябрьской революции, живым, металлическим ее памятником.



Н. И. БУХАРИН.

— Я не принадлежу к числу тех людей, которые в течение десятилетий произносят одну и ту же речь...—сказал Бухарин на последнем с'езде партии.

Еще бы! Вот уж кому-кому, а Бухарину нет нужды произносить одну и ту же речь. Этот лучший собеседник во всей Москве, как его называет английский журналист Ренсом, насыщен мыслью до крайних пределов, до отказа. И напористой, атакующей, воинствующей мыслью.

У Бухарина чистый, московский, певучий говор. И какой-то, всегда молодой, задорный голос. Он чуть-чуть петушится всегда. Всегда настороже, всегда готов отразить нападение и самому перейти в нападение. Этот совсем не акдемический оратор, говорящий почти исключительно на академические темы, совмещает в своих речах и обвинительный акт, и речь прокурора, и резюме судьи, и приговор народных заседателей. Бухарин—это оживленная гильотина Октября. Его речи сшибают головку ереси—как топор.

— Можно эмоциями жить наполовину, но эмоциями нельзя думать. А чтобы думать—нужно приводить в движение некоторые другие физиологические ингредиенты своего организма.

Конечно, Бухарин имел ввиду себя, заявляя, что эмоциями нельзя думать. Он и не думает эмоциями: далеко от того. Но в то же время Бухарин—едва ли не самый эмоциональный оратор Октябрьской революции. И противоречия тут нет

никакого. Просто ораторская и писательская мысль Бухарина доведена до степени эмоции, т. е. чувства, переживания, до такой степени она страстна, драматична, глубоко жизненна и насыщена вибрирующей реальностью. Бухарин может говорить о марксовой теории ценности, об аграрном вопросе в Италии, о накоплении капитала в Америке таким образом, что со стороны может показаться, что от решения этого вопроса, и немедленно, сейчас же, зависит участь вот всей этой тысячной аудитории, его слушающей. И самое характерное, что для Бухарина это на самом деле так.

Бухарин собран, сконцентрирован, монистичен, как неразложимая математическая величина, для Бухарина нет тем, проблем, вопросов, есть только тема, проблема, вопрос, не только главная, а единственно существующая, единственно имеющая реальное бытие: тема, проблема, вопрос—революция и ее благо. И, конечно, в плоскости этого вопроса он мыслит, как свое духовное бытие, так и бытие вот этой тысячной своей аудитории, и поскольку вопрос о накоплении капитала в Америке вливается каким-то устремлением своим в основную проблему, постольку и он, с точки зрения Бухарина, приобретает значение жизненно реальной, действительной темы для аудитории.

Отсюда и проистекает, что Бухарин, как оратор, представляет явление необычайное в анналах не только политического, но и революционного красноречия.

Мы привыкли, что у оратора сверкают глаза и повышается голос, когда он бросает с трибуны мощный призыв к последнему, решительному бою, когда стремится он поднять эмоции слушателей до точки кипения. Но вот аудитории сообщаются следующее сведение:

„Если взять соотношение ржи к машине, как 100 к 100 в 1923 году, то в феврале 1924 г. соотношение будет 61 к 100. Если взять соответствующее отношение ржи к удобрению — а удобрение играет значительную роль на крестьянском рынке, — то мы получим соответствующее отношение—84 к 100“.

Сведение—как сведение. Как будто еще не отчего сверкать глазам.

Но вот аудитории сообщается ряд других подобных сведений. Кирпичик кладется к кирпичику. Их все больше. Уже горка. Уже возведен холм из этих кирпичей, из цифр, выкладок, абстрактных как будто бы, очень научных, очень холодных рассуждений и положений. Вся обстановка научного трактата. Но оратор словно не трактат читает, а воздвигает костер, подбрасывает охапками горючий материал, и этот костер не для забавы, а для какого-то очень важного дела — у оратора чуть руки не дрожат, у оратора страсть звенит в голосе, оратор и аудиторию зажигает своим боевым задором.

Костер готов, — нужно бросить в него спичку. Холм выстроен, — нужно водрузить на нем красный флаг.

И оратор бросает в аудиторию боевой лозунг:

„Если к этим явлениям подойти с точки зрения соотношений между буржуазией и рабочим классом и спросить, что здесь оригинального и что здесь нового в связи с тем анализом, который мы произвели выше, то мне кажется, что можно формулировать положение с точки зрения буржуазной политики таким примерно образом, что буржуазия нуждается в передышке“.

Уже не статистик, не экономист, не ученый на трибуне. Это разведчик был послан в стан врага. Он тщательно все выследил, осмотрел расположение врага, изучил условия жизни вражеского лагеря и теперь на военном совете делает военный доклад, на основании своих исследований предлагает план кампании, подсчитывает шансы. Естественно, что с подлинной страстью будет приводить разведчик те или иные сухие цифры, имеющие отношение к предстоящему бою.

Смотришь на Бухарина, когда он на трибуне, слушаешь его речь, доклад или военное донесение, — и спрашиваешь себя: академик или разведчик? Вопрос наивный. Для человека монистического, собранного, сконцентрированного нет раздельных сфер мышления, работы, существования. Он всегда на службе у своей идеи. Бухарин всегда на службе революции.

Но тут нужно оговориться. Ведь, и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев, и Радек не академиками выступают в своих политических речах и докладах. Это так, конечно. Есть, однако, существенная разница между Бухариным оратором и другими ораторами Октября. Это подчеркнуто „походный“ характер

Бухаринского красноречия. Человек произносит свои речи, словно он на коне, или при батарее, словно в руке у него запал артиллерийского орудия. Про Брандлера говорили, что, когда он аргументирует, кажется, что он швыряется кирпичами. О Бухарине можно сказать, что он аргументирует, сидя верхом на ядре, которое несется в неприятельское расположение И естественно, что Бухарин меньше чем кто-либо обращает внимание на внешнюю форму своей речи, которая всегда является аргументом, каковой, однако, звучит постоянно, как призыв. Вот эти самые аргументы Бухарина, звучащие, как призыв...

Строя их стройную цепь, Бухарин не с аудиторией своей разговаривает, не слушателей своих аргументирует и убеждает.

Оратор может обращаться непосредственно к своей аудитории, иметь только ее ввиду. Оратор может говорить поверх голов аудитории присутствующей здесь, пользуясь ею лишь как рупором. Оратор может, наконец, комбинировать, синтезировать оба метода подхода к аудитории.

Хорошо ли это или плохо, факт тот, что у Бухарина совершенно иные методы красноречия. Бухарин как будто не принимает во внимание аудиторию, не видит ее, не чувствует ее, не считается с ней, как это ни странно, ни необычно для оратора.

Но в чем здесь дело? Математик, решая сложную проблему, не к присутствующим при решении, или находящимся за стеной аргументирует и апеллирует, не правда ли, а к математическим законам, которые он хочет либо использовать, либо изменить, либо выявить в новой форме. Так и Бухарин. Этот темпераментный математик революции свое темпераментное красноречие направляет по адресу вот этих незыблемых законов экономики, социологии, обществоведения, эти законы— в конечном счете его аудитория; к ним обращается, с ними спорит оратор, эти законы стремится он понять и, поняв, завоевать, подчинить себе, подвергнуть своему волевому воздействию. А аудитория перед ним, люди, это так, внешняя обстановка речи.

Поэтому Бухарин одинаков—пишет ли он или говорит,—ему совершенно не важна внешняя обстановка, поэтому и называется сборник его „теоретических“ статей, многозначительно, „Атака“, поэтому и может гордиться Бухарин не только

мышлением марксиста, но и темпераментом марксиста, эмоции которого отталкиваются не от человека, не от психики человеческой, случайной и ненадежной, а от тех же постоянных и незыблемых законов, от которых отталкивается его мышление, которыми оно определяется.

И особенно четка и явственна эта черта, когда аргументация Бухарина своим сырьем, материалом своим имеет именно человека и человеческую психику. Совершенно классическим образцом является в этом смысле его речь на процессе эсэров.

Речь эта—обвинительный акт, насыщенный страстью до пределов. Гневом совершенно неизбывным. Ненавистью немилосердной. И по адресу живых людей,—всех этих Гоцев, Тимофеевых, Ратнеров—направлены страсть, ненависть, гнев.

Они здесь же присутствуют, эти люди сидят против него, он к ним обращается лично, и словом и жестом, называет их по именам, цитирует их фразы, перебрасывается с ними аргументами.

И однако, всмотритесь в аргументацию и построение речи. Моральное негодование движет сокрушающий топор красноречия Бухарина, святой гнев, человеческая ненависть против человека? Ничего подобного. Научное негодование, академический гнев, ненависть математика к профанам, не умеющим справляться с теми цифрами, которые они вызвали к жизни...

В чем грех и вина партии правых эсэров перед пролетарским правосудием? В том, что она организовывала взрывы, покушения, вступала в связь с союзниками? Это отягчающая деталь—не больше. А вот в чем грех и вина:

„В том громадном катаклизме, который произошел, имеет право на историческое существование та сила, которая в данный исторический момент может держать страну, может ее организовать, ею править... Вы не могли править (обращается Бухарин к обвиняемым), как и буржуазия не могла править, а мы правим страной“.

И Бухарин приглашает обвиняемых подумать об этом. Он их приглашает, так сказать, на теоретический диспут; нет нужды, что этот диспут мыслился обвиняемыми, как диспут о жизни.

И вот почему диспут о жизни превращается в теоретический диспут об абстрактном праве на существование тех или иных общественных групп:

„Для нас всякая оценка не есть оценка с точки зрения моральной негодности, а с точки зрения строительства в процессе того нового, во что мы верим и что считаем необходимым делать... С точки зрения социальной годности или, так сказать, инструментального взгляда на человеческую личность нужно рассматривать дело... оценивать каждую отдельную личность, как некоторый кирпич, годный или негодный для построения нового общества...“

А когда оценка произведена и отбор сделан, что с остальными?

„Попытка создания третьей силы неизбежно должна быть раздавлена между молотом и наковальней“.

„Эмоционально-психологическим“ такой подход к делу во всяком случае нельзя назвать. Не при этом подходе—наука стала эмоциональной. „Нельзя думать эмоциями“,—это в этой своей речи сказал Бухарин и исчерпывающе это доказал. Но доказал также,—незаметно, быть может, для себя,—и нечто другое: что можно чувствовать мыслями. Что неправильная историческая мысль,—это одновременно вредная, антиобщественная эмоция.

Так что же? Механизированный теоретик? Российский Сен-Жюст? Ничего подобного. Не вяжется с Сен-Жюстом этот молодой, радостный задор, несущийся с ораторской трибуны, когда она занята Бухариным, и недаром так любит наша комсомольская молодежь именно Бухарина: даже самого молодого, самого свежего из них заражает почти перенасыщенная жизненностью, увлекательная своим повышенным жизненным тонусом речь Бухарина. И не случайно так любит Бухарин говорить для молодежи и на темы о молодежи.

Выше мы указали, что для Бухарина аудитория лишь внешняя обстановка его речи. Но можно различать обстановки и некоторые предпочитать. Не потому ли предпочитает оратор Бухарин обстановку молодежи, что лишь когда он говорит с молодежью, ораторский его дар доходит до максимальных своих достижений, приобретает элементы пафоса?

А пафос красноречия Бухарина—совершенно особый. Это пафос бодрости, веселой бодрости, такой бодрости, такого веселья и жизнью, и мыслью, которая может быть понятна только у молодого и только молодым.

И язык Бухарина, когда он делает доклад молодежи на тему, предположим, о „Пролетарской революции и культуре“— как то по особому звучит.

С одной стороны — это обычный его язык: небрежный, не гоняющийся за красотами формы, растрепанный даже, не признающий каких бы то ни было словесных символов, многословных фиоритур, импозантных украшений, звонких погремушек, но вместе с тем очень позитивный, очень четкий, подчеркнуто трезвый язык, апеллирующий только к здоровому, ясному разуму и не желающий признавать присутствия других элементов в психике слушателя.

Но это только с одной стороны. Есть и другая сторона в вышеназванном хотя бы докладе Бухарина. Вот эта самая бодрая веселость. Какая-то душевная ловкость, душевная сноровка. Веселая организованность. Все это проходит красной нитью и в содержании, и в форме этого доклада, и концентрируется в знаменитой бухаринской формуле: нам нужен марксизм плюс американизм.

И когда говорит Бухарин в этом своем докладе с веселым презрением по адресу противников революции:

.... „У вас ничегошеньки, вы плачете, хнычете, колупаетесь в собственном пупке, обращаетесь к боженьке, вы сделались стариками, никуда негодными, дряхлыми, сопливыми“...

И когда обращается он затем с веселой надеждой к своим слушателям:

... „Мы победим, мы преодолеем все препятствия, и всем хныкалам тогда заявим—какие вы жалкие людишки были, когда нам надоедали, мешали работать. А мы взяли в руки наше знамя и доведем до конца наше дело!“

Тогда по-новому понимаешь ораторский пафос Бухарина.

Тогда вспоминаешь об одном предшественнике Бухарина, о Бухарине шестидесятых годов (эта эпоха самоопределения революционного разночинца являлась в известной степени прелюдией к Октябрьской революции), тогда вспоминаешь о бодром, юном позитивисте, задорном и безжалостном Писареве,—Бухарине той эпохи. Тогда вспоминаешь о Писаревской фразе,—которая сделалась бухаринским делом:

„Природа это не храм, а мастерская, и человек в ней работник“.

Работник. В своей анкете может указать Бухарин:

— Рабочий от станка. Станка, на котором куется революционная наука и наука революции.

Весело и бодро звенит удар молотка об этот станок,— звонкий бухаринский голос...



Г. Е. ЗИНОВЬЕВ.

Поток слов. Водопад слов. Совершенно чудовищное количество слов. Они льются и сыпятся с непостижимой быстротой,—оратор как будто и не переводит дыхания. И ни одно из них не пропадает, не скрадывается, не расплывается, не тонет в этом море звука, для которого не страшна никакая аудитория, который побеждает всякую акустику... Какой голос! Теноровые верхи, которым позавидовал бы не один певец, и голос не срывается, не сипит, не тает... Час, два часа, три часа, четыре часа... Машина, кажется, и та устала бы. А голос все тот же, острый, высокий, наполняющий всю аудиторию, врезающийся повсюду, не ограниченный—так кажется—ни временем, ни пространством, все время держащийся все на той же звонкой ноте, и дикция все та же: отчетливая, ясная, напористая, энергичная... Громадный исключительный ораторский материал.

Этот материал не пропадает втуне. Вряд ли прозвучит преувеличением утверждение, что ни один оратор мира не произнес столько речей, сколько Зиновьев, и уж во всяком случае ни один оратор не имеет в своем ораторском активе количества таких длинных речей, каковым может гордиться Зиновьев. Ораторский размах Зиновьева вполне соответствует размахам и мерилам Октябрьской революции.

Всех вождей Октябрьской революции ненавидит внешняя и внутренняя эмиграция. Обижаться на это не приходится, но человечеству это понятно... Но никого не ненавидят так, как Зиновьева. Это уж особо лютая ненависть. Она бытовая какая-то, житейская, являясь вместе с тем принципиальной, метафизической. Зиновьева белогвардейцы ненавидят и как живого человека, и как символ. Ненавидели всегда, ненавидели еще после первых его речей в мартовскую революцию...

В конце апреля 1917 года, в первые месяцы керенщины мне пришлось быть свидетелем своеобразной дуэли, секундантами и судьями в которой было несколько сот человек в солдатских шинелях и обмотках, тесно и скученно сидевших в эффектных темно-зеленых креслах большого зала Таврического дворца (ныне Дворец Урицкого).

Это был первый с'езд делегатов фронта. Серая солдатская Русь, истомленная, изможденная трехлетним хождением по мукам, начала надвигаться на Питер, начала заливать своими волнами, серыми, с мрачным отливом, яростными, но еще не уверенными в своей ярости, в своем праве на ярость,—прямые, холодные, равнодушные улицы высокомерного барского города. Серая солдатская Русь пришла первым своим потоком—совещанием делегатов фронта—в надменный город. Пришла — еще не уверенная, как пришла: как жалобщик, или как обвинитель...

На этом первом с'езде делегатов фронта происходила ораторская дуэль между Церетелли и Зиновьевым. По нескольку раз в течение одного заседания выступали оба оратора: это была одна из самых красноречивых страниц революционного красноречия.

И на самом деле эта схватка была эффектна. Один не в меру впечатлительный буржуазный журналист писал по поводу этой дуэли о столкновении двух начал революции: начала доброго, благородного, олицетворяемого Церетелли, и начало злого, „демонского", носителем которого был Зиновьев.

Церетелли на самом деле „благородно страдал". Лилась высокая лирика об обязанностях солдата и гражданина перед великой, бескровной революцией; выразительно сверкали глаза на его бледном апостольском лице; когда говорил он о необходимости сидеть, во имя спасения родины и революции,

в окопах,—забирался его голос ввысь,—солдатская серая Русь молчала, — и не понять было, молчит ли она одобряя или протестуя.

А потом трибуну занял Зиновьев — я его слыхал тогда в первый раз. Семь с половиной лет прошло, но я и сойчас помню первое впечатление от его речи: какая-то хищная, необузданная речь, особенно по сравнению с красноречивой елейностью Церетелли; это оратор классовой вражды, глубинного мятежа, таким наверно был Марат... Солдатская, серая Русь, сидевшая в Таврическом дворце, зашевелилась, заволновалась: оратор ударил по каким-то очень подлинным струнам.

Спор между Церетелли и Зиновьевым шел по вопросу о „декларации прав солдата". Это гучковское изделие (крупный буржуа Гучков был тогда военным министром) было само по себе, для того времени не плохо: солдату предоставлялись весьма большие права. И непонятно было, чего, в сущности говоря, хочет Зиновьев. Со страшной силой обрушивался он на какие-то, казавшиеся маловажными, пункты, и как будто бы резонно возражал ему Церетелли, указывая, что декларация является громадным шагом вперед по сравнению с положением солдата при царизме. Но Зиновьев снова поднялся на трибуну, и еще раз, и еще раз—четыре ораторских схватки произошли в этот день,—и стало ясно, что Зиновьев метит дальше, что разрывая в клочки декларацию, он разрушает самую идею о солдате, как защитнике буржуазной родины и буржуазной революции, что кричит он людям в шинелях и обмотках, недоумевающим — кто они, в чем их роль: не жалобщиком ты должен быть, добивающимся увеличения своих прав, а обвинителем, пришедшим сюда на суд. Солдатская серая Русь вздрогнула, она услыхала пронзающие слова, брошенные высоким, теноровым, пронизывающим голосом, слова, от которых еще больше серели и мрачнели лица, и сжимались в кулаки загрубелые от винтовки руки: вас обманывают, вас обманывали при царе и обманывают при Керенском, вам отмеривают свободу по кусочкам, а она вся в ваших руках, нужно только захотеть взять ее целиком...

И пробормотал в трусливой злобе мой коллега журналист:

— Какой проклятый, дьявольский демагог! Он апеллирует к самым низким страстям...

Вот поэтому ненавидят Зиновьева ненавистью лютой: он „дьявольский демагог“. Поэтому и писал сухой и трезвый немецкий „Форвертс“ после конгресса в Галле о „демоническом“ характере красноречия Зиновьева.

Но что такое демагог? Что значит апеллировать к низким страстям?

Прочность цепи определяется прочностью самого слабого ее звена, гласит закон механики. И отсюда вывод: хочешь разрушить цепь—ударяй по самому слабому ее звену. Это естественный вывод, естественный поступок для того, кто хочет разрушить цепь. Но что сказать о тех, кто, желая охранить целость цепи, с громами морального негодования обрушивается на ударяющих по самому слабому звену? Только то, что они лицемеры и лицемеры неостроумные. Этими остроумными лицемерами пущено в оборот словечко: демагог.

В своих разрушительных речах, речах революционера, который хочет уничтожить старый строй, и все с ним связанное—старую армию, старый господствовавший класс, старый быт, старую мораль, — Зиновьев всегда бьет по самому слабому звену цепи, олицетворяющей старый порядок; в буржуазно-империалистической России Керенского самым слабым звеном была армия, а самым слабым звеном в психологии армии—была навязанная извне необходимость проливать кровь за чуждые ей интересы. Зиновьев бьет по этому звену, внушая каждому солдату, что ему незачем проливать кровь, и что основным правом солдата должно являться право отказаться от пролития своей крови во имя чуждых интересов. Инстинкт самосохранения, когда он проявляется у угнетенного класса, клеймится лицемерными идеалистами, обслуживающими класс угнетателей как низменная страсть. Ничего, Зиновьев не стыдится апеллировать именно к этому „низменному“ инстинкту, зная, что здесь именно будут успешны, и чреваты действенными последствиями его апеллирование, его призыв.

Когда в голодные и холодные годы Зиновьев, бросая в массы лозунг „классового“ пайка, говорил: „Да, вам голодно и холодно, но вашему врагу еще холоднее и голоднее...“ Когда он говорил: „Да, правда, у вас только восьмушка хлеба, но у вашего врага один лишь запах этой восьмушки“,—лицемеры выли: демагог разнуздывает низменные страсти.

Но оратор классовой борьбы, вошедшей в самую острую свою стадию, стадию борьбы за уничтожение,—таким оратором был в те годы Зиновьев,—совершенно целесообразно ударяя по тому древнему инстинкту, который всегда существовал в человеческой натуре и будет существовать до тех пор, пока есть понятие—враг, борьба; по инстинкту, который выливается в мысли: если моему врагу хуже, чем мне, то мне уже хорошо. Ибо удовлетворение, насыщение этого инстинкта дает силу продержаться, дает волю к дальнейшей борьбе. Счастлив тот вождь, который может нащупать этот инстинкт в своей армии, удовлетворить его, насытить его. Он с гордостью может сказать: да, я демагог.

. . . .

Это поразительное умение, почти гениальное умение ударить по самому слабому звену врагу, и нащупать самый нужный в данный момент инстинкт сторонника—является, в сущности говоря, основным моментом ораторского дара Зиновьева. Особенно настойчиво, убедительно и красноречиво проявляется это умение Зиновьева, когда он имеет дело с аудиторией, состоящей из врагов и сторонников, с аудиторией смешанной.

Такая аудитория была у него на конгрессе в Галле в 1920 г., когда он произнес свою знаменитую четырехчасовую речь, которая войдет и историю политико-революционного ораторского искусства, как, быть может, самый лучший, самый сильный образчик красноречия одновременно оборонительного и наступательного, рассчитанного одновременно и на врагов, и на сторонников.

Больше четырех часов длится эта речь, но уже в первые десять минут наносит оратор удар по слабому звену. Как известно, правые независимцы утверждали перед конгрессом и на самом конгрессе, что нет принципиальных расхождений между ними и Коминтерном, а все дело лишь в диктаторских стремлениях Исполкома Коминтерна.

— Нет, — говорит оратор, — вы не коммунисты, а реформисты, меньшевики, ибо меньшевизм—международное движение. Вы не верите в мировую социальную революцию...

Оратор настаивает на этом пункте, зная, что вот тут слабое звено, что по стратегическим условиям момента противник не осмелится признать, что он не верит.

Оратор продолжает: „Никогда мы от вас не требуем и не будем требовать, чтобы вы сделали революцию завтра. (В аудитории движение, — противник недоумевает, не понимая цели этой, как будто отступающей фразы). Единственно, чего мы от вас требуем, и вы этого можете от нас требовать, — это систематически подготовлять и пропагандировать мировую революцию, все предпосылки которой налицо. Воспитывать отсталые слои пролетариата и крестьянства, говорить им, что час мировой революции ударил,—вот наша задача“.

С такой формулой не могут быть несогласны и правые. Вождь их, Криспин, восклицает с места:

— Но это и делает партия независимых с.-д.

И вот тут противник попадает в заготовленную ловушку. Ибо несколькими ссылками на несколько общеизвестных фактов из практики правых независимых устанавливает оратор неверие правых вождей в революцию. Но правое крыло, встав на этот путь, должно уже идти дальше, оно отказывается быть припертым к стенке, оно отрицает цитированные оратором факты, и когда оратор снова бросает вопрос,—так вы верите, что экономические предпосылки революции в Германии налицо?—они должны ответить утвердительно. Оратор просит запомнить этот утвердительный ответ и цитирует его снова и снова: противник сам дал ему оружие в руки.

И тогда следует удар по слабому звену цепи: как же вы, которые верите, что экономические предпосылки революции налицо, что вопрос лишь в суб‘ективной готовности,—как же вы входите в амстердамское об‘единение профсоюзов, являющееся органом международной буржуазии? Тут оратор у себя дома, ибо за доказательствами его последнего положения не нужно далеко ходить. И он обрушивает один удар за другим на слабое звено: белогвардейцы, и те менее опасны для социализма, чем амстердамцы!

Правые, сами себя приведшие в тупик, неистовствуют. Это неистовство лишь на руку Зиновьеву. Он восклицает:

— Да, товарищи, потому вам это так и не нравится, что это правда!

Такая фраза звучит всегда убедительно, приведение спора к такой точке, когда можно такую фразу произнести, само по себе является психологической победой над аудиторией. Ибо немногочисленные нейтральные или шатающиеся элементы,

какие есть в аудитории, а именно их завоевывал Зиновьев,— не могут не подумать: если это было бы неправдой, то зачем было бы так яростно это отрицать? И естественно, для них становятся еще более убедительными, чем раньше, все предыдущие положения оратора, приведшие к этому последнему выводу-удару, и психологически они уже подготовлены к восприятию последующих выводов. Известно правило стратегии: нужно уметь максимально использовать каждый данный, местный успех. Никто, как Зиновьев, не умеет в ораторской стратегии использовать максимально слабое звено противника и достигнутый против этого звена успех...

Мы не предполагаем в данном кратком очерке дать детальный анализ речи Зиновьева в Галле (само собой разумеется, речь здесь идет лишь о формальном анализе). Мы хотим лишь обратить внимание читателя на некоторые основные приемы этого фехтовальщика словом. Мы видели только что прием удара по слабому звену. Остановимся вкратце на приеме перехода от обороны к нападению, на приеме контр-атаки против атаки противника на кажущееся ему слабым звено. Для правых независимых таким слабым звеном у Коминтерна казался национальный вопрос, в связи с конгрессом народов Востока. Криспин и Гильфердинг сколотили себе политический капитал утверждением, что Коминтерн, борясь против европейских социалистов, вступает в связь с „муллами из Хивы". Утверждение это, имея все элементы внешней правдоподобности и саркастически оценивая тактику Коминтерна,— пользовалось большим весом до конгресса в Галле.

Зиновьев принял бой именно в этом пункте. Он обрисовал перед аудиторией в Галле, мало знакомой с этим вопросом— что такое порабощенный восток. Насмешку относительно „мулл из Хивы" он отразил патетическим призывом к европейскому пролетариату не забывать своих угнетенных братьев на Востоке; прием отражения насмешки пафосом—опасный и ответственный прием, но когда он удается,—сила действия его максимальна, и поэтому, когда, все повышая и повышая патетический размах своей речи, говорил Зиновьев:—Ваши ученые вожди смеются над муллами из Хивы, а мы ведем в бой миллионы угнетенных, ваши вожди смеются над муллами из Хивы, а мы раскрепощаем восточную женщину, Гильфердинги

издеваются над муллами из Хивы, а мы во всем мире готовим священную войну против буржуазии.

Когда говорил он так, повышая, нужно полагать, вместе с тоном речи и самый звук речи, естественно, что и правое крыло не могло не смотреть со смущением на Гильфердинга. И естественно, что, когда закончил он великолепным образчиком патетического призыва:

„Маркс и Энгельс сказали—пролетарии всех стран, соединяйтесь; мы, ученики Маркса и Энгельса, живем в счастливую эпоху, когда мы можем расширить эту формулу, сказав: „Порабощенные народы всего мира и пролетарии всех стран, об'единяйтесь против ваших угнетателей“!

— То ответом ему был, как отмечает отчет—бешеный взрыв аплодисментов всего зала. Зиновьев и здесь выиграл бой, поняв великолепной интуицией оратора, что в данном случае убить насмешку и издевательство нужно не логическим рассуждением, а ударом по струнам пафоса...

Можно было бы остановиться еще на многом. Хотя бы на том, как, говоря о месте террора в революции, Зиновьев надавил на инстинкт революционной справедливости, революционной мести, как, говоря о положении в Советской России, оратор с потрясающей силой апеллировал к инстинкту пролетарского сочувствия.

Все эти места речи в Галле подлежат изучению с точки зрения формального анализа ораторского искусства и, нужно думать, будут изучены. Но особенное внимание исследователя будет обращено, можно думать, на смелый прием, использованный Зиновьевым в одном месте. Зиновьев принял слова противника и сделал из них обратный его выводу вывод. Это было тогда, когда правые независимые говорили по поводу взаимоотношений в РКП в тот период времени и цитировали официальные документы, говорившие о некоторой розни внутри партии, в связи с взаимоотношениями „верхов и низов“.

Правое крыло конгресса полагало, что Зиновьев обойдет молчанием этот „неудобный“ вопрос или, по крайней мере, будет указывать, что цитированные документы неправильно цитировались, противопоставит им другие документы и т. д. Они жестоко ошиблись. Зиновьев принял бой лицом к лицу.

Да, это правильно, да это так, говорил он по поводу приведенных цитат, „но я желал бы видеть того вождя правых

независимых, который осмелится о своей партии говорить так откровенно, как мы говорим о своей". Один удар. И за ним следует сейчас же второй: а как обстоит дело у вас? Ваше правое крыло, состоящее во многих случаях из лиц свободных профессий, адвокатов и депутатов и партийных чиновников—живут ли они в таких же условиях, как рабочие от станка, заполняющие левое крыло? Отчет указывает тут не аплодисменты, а волнение, даже смятение среди присутствующих. Призыв к чувству обиды против партийного неравенства („низменный инстинкт") был правильно рассчитан, и удар упал на больное место...

Этот, по необходимости приблизительный и поверхностный, анализ дает все же возможность решить вопрос о „демагогии" Зиновьевского красноречия. Поскольку умение вызывать в аудитории разнообразные, необходимые оратору чувства и переживания, умение освещать вопрос так, что это освещение является тем, какого ждала аудитория, умение сделать настроение отдельной, зачастую небольшой группы аудитории—настроением всего зала, если это нужно оратору, умение заставить аудиторию, подчас незаметно для нее самой, переменить свое прежнее мнение, умение, наконец, заставить служить себе своей ораторской цели все элементарные, первичные инстинкты аудитории, все подсознательные ее страсти,—поскольку такое умение является умением демагога—тогда, конечно, Зиновьев демагог.

Ибо, как оратор, он раньше всего психолог. Наиболее чуткий, опытный и умелый психолог из ораторов Октябрьской революции, с громадной интуицией учитывающий законы массовой психологии и массового восприятия. Поэтому каждая значительная речь Зиновьева—это, в большой степени—борьба с аудиторией и победа над ней.

Ораторское искусство Зиновьева весьма уязвимо для критики с точки зрения чисто эстетической, на критический взгляд „искусства для искусства". Ораторские пути Зиновьева и Троцкого в этом отношении резко расходятся. Ничего самодовлеюще ценного в красноречии Зиновьева нет. У него нет об'ективной красоты формы, у него нет и оригинальности формы, той гениальной оригинальности, которая была, кстати

сказать, свойственна Ленину больше, чем всем другим ораторам Октября. Основной и единственный, пожалуй, формальный признак Зиновьевского красноречия — это поразительный его голос и совершенно нечеловеческая неутомимость, т. е. категории, так сказать, служебные.

Но дело в том, что и все красноречие Зиновьева носит ярко выраженный служебный характер. Такова и публицистика Зиновьева. Все это служит одной политической цели—цели завоевания масс. Зиновьев—оратор, литератор, политик, всегда один и тот же: „ловец человеков". И так как эта цель,—завоевание масс,—непосредственнее и быстрее осуществляется при контакте с живой аудиторией,—ярче и рельефнее вырисовывается ораторская сторона таланта Зиновьева.

Но что означает обилие слов в Зиновьевских речах? Другими словами, каково взаимоотношение между словом и мыслью у Зиновьева?

Мне недавно пришлось слышать одного „оратора". „Трагизм буржуазной цивилизации, трагизм капиталистической культуры состоит в том", говорил он...

Какой прекрасный образчик беспомощности мысли и слова! Какой прекрасный пример наивного самообмана! Очевидно, думал этот „оратор", что тавтология—буржуазная капиталистическая, и цивилизация—культура—расцветает и углубляет его мысль. Этот прием—прием тавтологии—является наиболее элементарным, первичным приемом искусства красноречия и потому применяемым наиболее часто. В действительности он достигает обратной цели: распыляет, разводняет мысль, лишает ее какой бы то ни было четкости и точности. Это наиболее типичный, и весьма частый, как мы говорили, пример обилия слов; отсюда и возникает привычное положение, гласящее, что обилие слов равнозначуще отсутствию или скудости мысли и должно таковую скудость маскировать. В большинстве случаев это справедливо, но это отнюдь неприменимо к зиновьевскому обилию слов.

В своем отчете тринадцатому с'езду, Зиновьев констатирует, что задача отчета сводится к тому, чтобы дать ответы на два основных вопроса: сделаны ли успехи в области международной политики и хозяйственного положения. Констатировав это, он продолжает:

„Скажу вам, что настроение наше в ЦК таково, что мы утвердительно и положительно отвечаем на оба эти вопроса. Мы не хотим впадать в чрезмерный оптимизм. Легковесный и легкокрылый оптимизм никогда не был чертой большевиков. Если мы должны были иногда чрезмерно подчеркивать наши положительные стороны, наши успехи, успехи нашей партии, так это потому, что развивающееся беспредметное уныние имело большую политическую подкладку и грозило большой политической опасностью. Вот почему вопрос об этих настроениях, об унынии, оптимизме и пессимизме является не вопросом психологии, а иногда и политики. Очень важно основное настроение, основной тон настроения наших руководящих органов и всей нашей партии. Мы революционные оптимисты в том смысле слова, что мы незыблемо убеждены, что наше дело выиграет. Но, разумеется, мы ни в коем случае не безбрежные оптимисты в том смысле, что все идет гладко, что нет причин к самокритике. Есть такие причины, но и о вреде уныния помнить надо".

С первого взгляда, эта цитата, как будто, и грешит обилием слова. Прочтите ее, однако, второй раз и третий раз. И неопытному глазу станет видно, что оратор хочет выразить здесь очень сложный, очень тонкий нюанс мысли, найти среднюю линию между „безбрежным оптимизмом" и „вредным унынием", причем эта средняя линия должна пролегать так, чтобы у нее был видимый уклон в сторону оптимизма. И помимо всего этого, оратор хочет выявить этот тонкий и сложный нюанс таким образом, чтобы он стал очевиден каждому слушателю: Зиновьев не успокоится до тех пор, пока он не уверится, что каждый нюанс его мысли—понятен каждому слушателю. Обилие слов у обычного оратора лишь разжижает мысль. У Зиновьева—оно уточняет и утончает мысль. В этом, между прочим, основной контраст между ораторскими приемами Зиновьева и Троцкого: последний для уточнения, утончения мысли пользуется методом лапидарной, сжатой, эффективной формулировки, звучащей в конечном счете — афоризмом. Зиновьев не оратор афоризмов, афористических блестков почти не найдешь в его речах, резец афоризма он заменяет полотном пространного изложения. Нелепо было бы спорить, какой метод лучше: афоризм жадно схватывается, пространное изложение—прочно внедряется...

Афоризм, гипербола, сарказм, уподобление—все это не нужно Зиновьеву, для которого, как это уже неоднократно нами указывалось, слово, как таковое, и различные комбинации его не играют никакой роли. Но он очень охотно пользуется остротой. Не так, как Троцкий, для которого сарказм зачастую является фундаментом или лейт-мотивом, аккомпанирующим аккордом, не так, как Радек, который в остроте суммирует факт и мысль... Нет, Зиновьев пользуется остротой, ни на минуту не забывая о служебной, преходящей ее роли: острота только для того, чтобы слушатель „перевел дух", отдохнул, освежил восприятие. И затем острота должна быть такова, чтоб она была понятна для каждого слушателя, чтоб смех, ей сопутствующий, был смехом коллективным, всей аудитории: это облегчает дальнейший процесс коллективного восприятия, ибо создать коллективное настроение и восприятие легче всего, как настроение смеха. Поэтому Зиновьев очень часто прибегает к остроте в самом начале своей речи, и поэтому остроты его непритязательны и максимально общедоступны.

Зиновьев, как оратор, займет, безусловно, одно из первых мест не только в истории революционного, но и политического красноречия. Он смело выдержит сравнение с любым политическим оратором последних трех веков. Но кое-чем, и довольно значительным, он будет от них всех отличаться. Не техникой своей. Хотя она и первоклассна, но не является все же исключением. Достаточно указать хотя бы, что по технике, по приемам (чисто внешним) весьма приближается к Зиновьеву Ллойд-Джордж, считающийся и врагами своими первым политическим оратором современной Англии. Мне пришлось слышать Ллойд-Джорджа и внимательно штудировать его стенограммы, и я не мог не констатировать значительного сходства в самом об'еме красноречия. Конечно, сходство это не распространяется на ллойд-джорджевское пасторское лицемерие, выражающееся в цитировании библии, каковое является внешней чертой его красноречия. Нет, не в технике отличительный характер красноречия Зиновьева. И не в насыщенности оригинальной формы сложнейшим содержанием. Эта черта выделяет и ставит на недосягаемую высоту красноречие Ленина...

Нет, у Зиновьева другое.

Выше было сказано мельком о маратовских чертах в красноречии Зиновьева: мы берем здесь того Марата, каким сохранила его условная, буржуазная историография—Марата, как голос низов. И не подлежит сомнению, что буржуазные историки, если таковые останутся к моменту, когда можно будет писать полную историю Октябрьской революции, будут характеризовать Зиновьева оратора, как „разжигателя классовой ненависти“.

Но Марат остался только Маратом. Голосом низов, голос которых никогда не был реализован до конца. Но Марат не был никогда „ловцом душ“, в нем не было элементов политика, созидателя. История литературы дает нам гениальный образец красноречия „ловца душ“. Я говорю о шекспировском Антонии и его речи над трупом Цезаря.

Комбинацией ламартиновского Марата и шекспировского Антония представляется мне Зиновьев-оратор, комбинацией психолога-разрушителя и психолога-завоевателя. Конечно, только условия исторического момента—Октябрьская революция, завоевавшая массы для разрушения и тут же завоевавшая их для созидания,—могла породить такую счастливейшую, такую талантливейшую комбинацию, воплотившуюся в этом человеке...



Л. Б. КАМЕНЕВ.

Когда Октябрьская революция выступает как солидное, прочное, добротное, крупно-деловое государственное предприятие,—слово от ее имени принадлежит Каменеву.

Недаром с добродушной шуткой его называют—„лорд-мэром" Москвы: этот английский титул к нему подходит, у него и красноречие английского типа, английского покроя. И голос соответственный—мягкий и солидный, и держится он на трибуне просто, уверенно и спокойно.

Октябрьская революция богата ораторами, обсуждающими государственные проблемы, богата деятелями, вершащими государственные дела. Но тип государственного оратора и государственного деятеля представлен у нас одним Каменевым. Он в достаточной степени обладает характерными чертами этого типа и, в частности, чертой безличного красноречия.

— Мы партия, мы класс, мы государство... Этот тип красноречия, звучащий с особой убедительностью у Каменева,— не может не отразиться на индивидуальности оратора, не может не пригнуть несколько эту индивидуальность. Класс, государство, партия в этом случае не персонифицируются в ораторе; наоборот, оратор абстрагируется, оратор характеризируется тогда прекрасным, весьма отчетливым французским выражением „porte parole",—„носитель слова".

Такой носитель слова—Каменев. Это накладывает определенные, подчас тяжелые для ораторской индивидуальности

обязательства, это приглушает в значительной мере индивидуальный аромат речи, делая речь всегда значительной, всегда устойчивой, всегда авторитетной, это лишает ее в то же время эффектов неожиданности, столь соблазнительных для каждого оратора, внезапных взлетов, столь дорогих каждому, кто на трибуне.

Вот что видишь сразу, когда взглянешь на Каменева-оратора. Это так. Это верно. Но не удовольствуемся этим, взглянем глубже, пристальнее, настойчивее. Что-то, ведь, есть в ораторском даре, в ораторском темпераменте Каменева, что позволяет ему с таким четким, блестящим умением выполнять функцию государственного оратора? Ведь, это не дело случая? Или, другими словами, могли бы выполнять эту функцию с Каменевской точностью, прочностью и добротностью, другие ораторы Октября, бесспорно более одаренные в ораторском смысле, как хотя бы Зиновьев, Луначарский, Троцкий, каковым, вдобавок, эту функцию иногда приходится выполнять!

Первый С'езд Советов в Питере в июне 1917 года протекал в атмосфере резкой подчеркнутой враждебности к большевикам. Их было немного на с'езде, кучка почти, едва ли больше ста, при количестве делегатов до тысячи. И лозунгом хозяев с'езда—меньшевиков и эсэров было относиться к большевикам пренебрежительно, не брать их в серьез; но в связи с рядом обстоятельств, в связи с тем, что 18 июня питерские рабочие впервые демонстрировали всей своей угрожающей массой с большевистскими лозунгами и под большевистскими знаменами, в связи и с тем фактом, что на этом с'езде произнес Ленин свою знаменитую речь, впервые рисовавшую широкой аудитории перспективы Октября,—лозунг пренебрежения к большевикам как-то не мог реализоваться и уступил свое место чувствам вражды и тревоги. Чувства эти были заметны и нам, журналистам, дававшим отчеты о заседаниях с'езда. И нам было видно, как эти чувства выражались хотя бы в махинациях президиума с'езда, руководимого Даном и Гоцом, который беззастенчиво зажимал рты не только большевикам, но и рядовым членам с'езда, пытавшимся уклониться от проложенной линии, но и тем рядовым рабочим с заводов, требовавшим слова от имени питерского пролетариата, которые

были подозрительны по большевизму. Особенно резко эти чувства выявились при обсуждении вопроса о высылке Роберта Гримма, о наступлении и о займе свободы, когда с большевиками почти целиком солидаризировались меньшевики интернационалисты во главе с Мартовым: этот с'езд был лебединой песнью Мартова-революционера, и он доставил тогда много хлопот и неприятностей своей сердитой няньке— Дану.

И поэтому, когда на одном из последних заседаний с'езда слово было предоставлено Каменеву для оглашения содоклада, кажется на тему о международном империализме, мне эта попытка показалась „безнадежным предприятием". Куда там, казалось мне, и слушать не будут.

Но Каменева слушали. Очень внимательно и добросовестно слушали. Произвела неотразимое впечатление мягкая убедительность его интонаций, достойный и серьезный тон рассуждения, ласковая настойчивость его доводов, его вежливая твердость в отстаивании точки зрения, казавшейся с'езду априори неправильной, умение высказать самую резкую мысль в наиболее приемлемой „джентльмэнской" форме, вообще, весь стиль его красноречия, каковой французы называют grande stile, а мы, за отсутствием подходящего термина, определяем, как „стиль парламентского красноречия". Для российской революционной аудитории этот стиль красноречия был нов. Он импонировал, как импонировал и самый звук его красноречия—бархатный, убедительный звук. Конечно, резолюция Каменева была забаллотирована, но мои коллеги, буржуазные журналисты, были удивлены умением этого большевика заставить себя слушать, несмотря на нависшие настроения вражды и тревоги, и были вообще поражены, что один из них и выразил в наивной формуле:

— Казалось бы, человек государственной складки, подлинный государственный деятель, и вдруг большевик...

Впрочем, от этого наивного российского журналиста недалеко ушли и английские журналисты, которые в бытность Каменева в Лондоне в 1920 году выражали, помнится мне, удивление аналогичного характера; да и сам Ллойд-Джордж, который совершенно неожиданно для себя натолкнулся в лице Каменева на противника, который, не уступая ему в мягкой

обходительности и буржуазно-европейской вежливости, значительно превосходил его твердостью убеждений, логикой, знаниями.

Оставаясь большевиком, Каменев стал государственным деятелем, подлинным государственным оратором. Соответственные стороны его ораторского дара, как и следовало ожидать, еще более развились, окрепли, отслоились, зафиксировались. Он приобрел четко выраженный стиль успокаивающей убедительности: с этим стилем не могли бы, пожалуй, справиться другие ораторы Октября, у них бы он прозвучал фальшиво. А в Каменевских речах он всегда на месте,— говорит ли Каменев о значении англо-советского договора, делает ли он обзор хозяйственного положения республики, трактует ли он проблемы внутренней торговли. Этому стилю как нельзя более соответствует Каменевский юмор—очень добротный, но вместе с тем добродушный, уютный, староанглийского типа.

Каменева никогда нельзя было назвать первоклассным полемистом, особенно по сравнению с такими мировыми мастерами, как Зиновьев, Троцкий, Бухарин. Для полемики такого типа у Каменева не хватает страстности, безжалостности. Но Каменев великолепный „дебатер“, т. е. полемист английского парламентского жанра. Когда в минувшую уже эпоху классического английского империализма с убедительной ласковостью начинал оратор Гладстон свою речь: „Я с величайшим душевным сожалением должен констатировать, что мой достопочтенный друг допустил небольшую ошибку“,—парламент затихал, а „достопочтенный друг“ начинал ерзать, ибо, чем ласковее и мягче звучала речь Гладстона, тем железнее и непреоборимее становилась его логика, и с тем большей ясностью вставал перед членами парламента вывод, что „достопочтенный друг“— просто-напросто идиот.

Речи Каменева полемического характера показывают, что он обладает искусством дебатера, т. е. искусством стелить мягко, но так, что спать жестко,—в полной мере. Не этой ли любовью мягко стелить об‘ясняется характерная мелочь: чем острее тема, дебатируемая Каменевым, тем чаще встречается в его речи формула, которой не пользуется почти никто из современных ораторов, формула: „Дорогие товарищи“?

И все же в памяти современников Каменев останется не только как государственный оратор, обращающийся к Моссовету таким образом и в такой форме, что речь его с большим неудовольствием читал Макдональд. Современники помнят и о другом Каменеве, Каменеве, представлявшем голос революции, еще не победившей, но уже воинствующей, идущей, негодующей, о Каменеве в день 11 июня 1917 г., в Питере, в актовом зале кадетского корпуса, где происходили в те дни, это было еще до Смольного, первые аванпостные бои молодой революции.

На трибуне стоял Церетелли. Все бледнея и бледнея, дрожа от сдерживаемого волнения, он бросает в переполненный зал, уже заряженный сознанием необычности происходящего, короткие, отрывистые, взволнованные слова, насыщенные тревогой и злобой. Он обвиняет большевиков в „заговоре против правительства". Он требует разоружения большевистски настроенных рабочих.

„Нельзя оставить в их руках пулеметы и оружие. Заговоров не допустим".

Взгляды всего зала направлены на кучку большевиков, сидящих в первых рядах слева. Среди них выделяется плотная, спокойная фигура Каменева. Но и он неузнаваем сегодня. Несвойственно быстрой ему походкой он поднимается на трибуну. Его голос непривычно вибрирует, в тишину зала падает его страстная, острая реплика:

„Господин министр (он глядит на Церетелли в упор), если вы не бросаете слова на ветер, вы не имеете права ограничиваться словами, арестуйте меня и судите за заговор против революции".

Эффектный вызов в одно мгновение становится исторической фразой, одной из немногих исторических фраз этого периода революции. Эффектный вызов не был принят министром Церетелли, и, быть может, благодаря этому, Церетелли был побежден. Собрание, где у него было твердое большинство, забаллотировало его предложение. Каменев был арестован при содействии министра Церетелли, но через месяц, после июльских дней. А за „заговор против революции"— история судила и осудила не Каменева, а Церетелли.

... Слушая ныне государственного оратора, мы помним и о революционном борце, которому знакомо опьянение революционной страстью.



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ.

Конечно, эстеты могут пожаловаться, что наша революция — во внешних ее выявлениях — скучна: слишком деловита, слишком суха, слишком материалистична. Вот тоже и красноречие революции скучное: либо оно ругается крепкими словами по адресу белогвардейцев и империалистов, либо насыщено оно до отказу цифрами, таблицами, цитатами из ученых книжек, всякого рода бухгалтерскими подсчетами... На самом деле, возьмите речи вождей революции за последние два-три года: сколько раз встречаются в этих речах слова—уголь, нефть, железо, производительность труда, хищники империализма, грабеж Антанты, и как мало хороших слов, вроде—идеал, радость битвы, орлиные взмахи крыльев... А если и есть какие-нибудь—орлиные взмахи крыльев,—то уж очень они на положенном месте—скромном месте, и никто на них и внимания не обращает: так, условная побрякушка.

А взять, например, речь Макдональда хотя бы. Тут и „святой Грааль", и „пусть бойцы спят в своем вооружении"...

Да, что Макдональд!... Пуанкаре ухитрялся свои проповеди о грабеже германского пролетариата строить по лучшим образцам французского красноречия. Вот в том то и дело: насчет французского красноречия слаба наша революция.

Олар, например, начинает второй том своего знаменитого труда—„Ораторы французской революции"—следующей весьма характерной фразой: „В первом томе настоящего труда

мы изучали ораторское искусство в период Учредительного Собрания и дали, таким образом, первую часть новой главы истории французской литературы.“

Вот, оказывается, в чем дело. История красноречия есть в то же время история литературы. Мыслимо ли это сказать про красноречие Октябрьской революции! Увы, не скажешь. Не скажешь, что речь Каменева о внутренней торговле или Зиновьева о борьбе с уклонизмом—вклад в русскую литературу. Вклад в политическую экономию, социологию, технику и механику революции, но уж во всяком случае не в литературу. Нет, как будто нечего и надеяться на такого рода комплименты будущих Оларов.

И однако...

„Для нас не подлежит сомнению, что мир, переживая капиталистический период, войдет в социалистический, и мы знаем, что вся несуразность, неравенство, уродство, которые мы видим в течение всей истории человечества на каждой ее странице, исчезнут, испарятся, изменятся, растворятся в социалистическом обществе, которое не только будет, но не может не быть великим дружным сотрудничеством под знаменем науки и техники, которые победят природу и создадут из нее такие источники наслаждения, о которых мы сейчас и мыслить не можем.

И для нас, знающих это счастливое будущее человеческого рода и сознающих все проклятия и все муки, в которые человечество погружено сейчас, важнейшим вопросом было всегда,—как ускорить эти процессы, как выйти из ада и войти в социалистический строй. И мы знаем, что сделать это можно только путем суровой борьбы, путем прохождения через чистилище, жестокую трезвую войну с врагами человечества, с теми, чьи привилегии стоят человечеству поперек дороги. И мы знаем, что эту борьбу можно вести, только призвав к ней само угнетенное человечество, и мы знаем в то же время, что вся масса этого угнетенного человечества еще слишком темна, что дело ее просвещения может затянуться на десятки лет, и что, стало-быть, нужно, чтобы какое-нибудь активное меньшинство сделало бы почин, потрясло бы державу капитала, вырвало бы власть из его рук, бросилось бы с пропагандой делом и фактами в массу и ускорило бы, таким образом, их созревание—созревание человеческой сознательной массы...“

Ничего, что эта цитата из речи длинна. Она прочтется с удовольствием всеми и каждым, прочтется с удовольствием, именно как литературное произведение. В ней так много от чистой, подлинной литературы: богатство языка, яркость образов....

А вот еще:

„Товарищи, такое великое явление, как Ленин, конечно, найдет себе отражение и в мировом искусстве. Пусть не непосредственно с Ленина написаны будут какие-то колоссальные фигуры в музыке, изобразительных искусствах, театре, но мы подняты вновь на какую-то особенную высоту. Мы уже, ведь, недавно оглядывались и говорили: где же гении, где героическое, где абсолютно светлое? Мы его видели, мы видели Человека, человека с большой буквы, мы дышали с ним одним воздухом, мы наблюдали его в исторической деятельности, и в повседневном быту. В нем, как в фокусе, сосредоточились лучи света и тепла, широкими волнами ходящие теперь по земле в героизме рядовых рабочих, крестьян и красноармейцев. Мы вступаем сейчас в героическую эпоху, и квинт-эссенция ее, ярчайший фокус и сосредоточие ее— Ленин—должен нас вдохновлять и подымать и в том художественном творчестве, к которому вы, здесь собравшиеся, призваны. О, если бы искусство, которое мы будем творить, с сегодняшнего дня было бы достойно такого чаловека, который стоял во главе нас, тогда это было бы поистине великое искусство. И так это для всех сторон жизни. Равняться по Ленину никто не может, но всякий должен. Всякий должен из всех сил равняться по Ленину и, в чем только можно, поднимать до этого уровня свою теоретическую работу, свою жизнь, свою борьбу.

С нами скорбит весь мир, устремленный в будущее.

И не без скрежета зубовного, но и враги, клеветники признают величие Ленина. Сегодня мы опустили его в землю, и взяли в наше сердце, и он пребудет и в наших сердцах, и в сердцах наших детей“.

Это прекрасно. Не только как ораторская речь, но и как страница художественной прозы. Это вот то, о чем может говорить будущий Олар: революционное красноречие Октябрьской революции, как глава русской литературы.

Ораторский дар Луначарского—можно легко догадаться, что ему принадлежат вышеприведенные цитаты,—на самом деле примечательный факт не только в истории российского революционного красноречия, но и русской литературы. Примечательный тем особым местом, которое Луначарский занимает и тут, и там, по тому контрасту, каковым является его красноречие по отношению к красноречию, типичному для Октябрьской революции, поскольку эта революция несет в себе черты русского национального характера.

Передо мной характеристика:

„Все в его красноречии рассчитано, чтоб волновать и нравиться по методам античных ораторов и великих французских проповедников. Благородство и величие — вот два качества, к которым он стремится и которых он большей частью достигает. Он отличается своим умением возвышать дебаты над уродствами и мелочами... Он уносит умы в подземные пространства, где обыкновенно витает его мечта; его речь— это возвышенные и тонкие мысли, гармоничные периоды, красивые слова и красивые звуки, приятные уму и слуху... Он умело устраняет все, что в вещах, о которых он говорит, может оставить мрачное, тривиальное или гадкое впечатление. Его талант не допускает никакой мысли, которая не была бы красива или возвышенна, никакой формы, которая не была бы изящна или великолепна, и в этом отношении искусство его находится в согласии с его думой“.

Если не останавливаться на некоторой напыщенности и тяжеловесности этой характеристики, то разве не является она весьма точной характеристикой ораторского искусства Луначарского, обрисовываемого хотя бы вышеприведенными цитатами? Разве не согласуется она с общим ораторским обликом Луначарского?

Только случайным совпадением нельзя об‘яснить, что характеристика эта, взятая из книги Олара—„Ораторы революции“,—относится к одному из лучших ораторов той эпохи, жирондисту Вернио.

И когда мы читаем у Олара, что „гуманность“ была главной чертой, „религией“ Вернио, мы снова не можем не подумать о Луначарском.

„Гуманитарный“ характер красноречия Луначарского достаточно ясен, если обратить внимание на одни только темы его речей. Конечно, оратор Октябрьской революции не может не говорить о специфических темах этой революции. Неоднократно приходилось и Луначарскому выступать в качестве политического оратора в тесном смысле слова; в качестве даже оратора ведомственного, но не приходится долго доказывать, что не в докладах Луначарского по Наркомпросу, или по проблемам международной политики—сила Луначарского, как оратора. У него свои темы, и в этих темах—он единственный. Знаменитые циклы его речей о культуре, религии, литературе, о проблемах революции, взятых в аспекте вечных проблем человечества, являются в последнем итоге разработкой одной основной темы, той темы, каковая служила базой творчества всех гуманистов, предшественников Луначарского, начиная с Пико де-ла-Мирандона, и кончая последним гуманистом — Жоресом, и каковая продвинута вперед и выше Луначарским.

У них—гуманистов буржуазной культуры—эта тема гласила: я—человек, и ничто человеческое мне не чуждо. У Луначарского она гласит: я—революционер, и ничто человеческое мне не чуждо...

Эта тема является одновременно и задачей его творческой жизни. Показать, что революционеру ничто человеческое не может быть чуждо, не должно быть чуждо, что разум и чувство революционера могут являться и должны являться путеводным компасом и ярко светящим маяком на всех путях человеческой мысли, фантазии и работы, как бы далеко не лежали эти пути от основной для всех видной дороги,— в этом цель, быть может, иногда и подсознательная всей творческой деятельности Луначарского. С факелом революции в руках, он исследует все глубины и низины, провалы и взлеты человеческого мышления и творчества и завоевывает для революции все новые и новые области. Луначарский — подлинный империалист от революции: лабораторию революционной переработки он обогащает все новым и новым сырьем, захваченным оттуда — из тайников буржуазной культуры, не всем доступных, куда не всем охота идти.

— Я революционер, и ничто человеческое мне не чуждо. Не чуждо в том смысле, что все человеческое подлежит

оценке и отбору с точки зрения революционера, что революционер своим глазом увидит в картинах Сезанна и в пьесах Шекспира, и в египетских пирамидах, и в скульптуре Родена, и в книгах Франса, и в откровениях евангелиста Иоанна, и в религии современной массовой буржуазной газеты, и в древних религиях „страдающего бога“, и в античном театре, и в современном цирке, и в гностической философии, и в неокантианских изысканиях, и в средневековом эпосе, и в лирике нынешнего дня, и в Вагнере, и в негритянских песнях (это все, и многое другое—темы Луначарского),—во всем этом увидит революционер своим глазом, при свете своего факела, то, что останется скрытым и чуждым для любого исследователя, у которого нет этого волшебного факела.

Луначарский увидел, — и он об‘ясняет то, что видел. Луначарский всегда об‘ясняет, и только об‘ясняет. Сила ли это его, или слабость, но он всегда и только комментатор. Комментатор в своих пьесах, стихах, теоретических работах, действенных речах, комментатор, владеющий совершенно неисчислимым богатством материала, подлежащего комментированию.

И еще одно важное обстоятельство. Луначарский комментирует вслух и для многих. Луначарский оратор во всем, быть может, единственный в Октябрьской революции, оратор во всех своих творческих проявлениях. Он оратор в своих пьесах, стержнем которых является всегда монолог, он оратор и в научных исследованиях своих, которые рассчитаны не на изучение, а оглашение, апеллируют не к индивидуальному разуму, а к коллективной эмоции, он оратор во всем своем мышлении, которое нуждается в аудитории для разбега и взлета.

Но на этом пути революционера, которому ничто человеческое не чуждо, пути комментатора и оратора—не стоят ли угрозы диллетантизма и эклектизма? Когда мыслишь о Луначарском, не можешь не думать об этих угрозах. И, конечно, не одного гуманиста, жившего в творившего в условиях буржуазной культуры, эти угрозы, превратившиеся с течением времени в реальность, обессилили, обесценили. Эклектизмом и диллетантизмом было подточено и величественное здание, возведенное Жоресом.

Было бы медвежьей услугой Луначарскому, если бы мы вздумали утверждать, что нет отпечатка диллетантизма и эклектизма на его ораторской работе. Конечно, есть, и в каждой почти большой речи Луначарского чувствуется и этот отпечаток, и следы настойчивой борьбы оратора с этим соблазном. Потому что быть эклектиком и диллетантом—это раньше всего соблазн. Во внешней стороне ораторского искусства Луначарского этот соблазн выявляется в некоторой тяге оратора к декламации (характерно, что о Вернио задает Олар вопрос, не был ли он декламатором). Тяга к декламации—это есть любовь к большим словам, к словам с большой буквы, словам символам, к словам, которые должны говорить сами за себя. А в существе ораторского дара Луначарскаго—эта властная наклонность к эклектике и диллетантизму сказывается в слишком широком обхвате мысли, в ущерб ее точности в красоте образа за счет его адэкватности мысли, в яркости параллели за счет геометрической ее правильности, в любви к художественной гипотезе—за счет скучного, но реального факта. Все пьесы Луначарского—это речи,—в этом их сила и слабость,—но и большинство речей Луначарского (дело идет не о его ведомственных докладах, конечно) в известной и большой степени—пьесы, и в этом их сила и слабость.

Сила не только потому, что самая драматическая форма его речей—монолог, зачастую переходящий в диалог,—больше действует на слушателя, чем ровное „академическое" красноречие. Но и потому, что мысль выигрывает в своей убедительности и действенности, когда она некий результат, результат некоей борьбы с противоречащей мыслью, когда она рождается из столкновения, когда она видима и слышна для всех — осиливает препятствие. Мысль приобретает тогда динамичность—она сопрягается со страстью.

Но тут заложена и слабость. Ибо иногда эта демонстрация борьбы на ораторской трибуне, с предрешенной победой,—просто не нужна, является лишь ораторским упражнением, искусством для искусства, самодовлеющей эстетической ценностью. Иногда Луначарский диалектически запутывает проблему, лишь затем, чтобы ее распутать. Эффектная, увлекательная игра отодвигает на задний план реальное дело.

Но, как сказано выше, в ораторской деятельности Луначарского (то-есть, тем самым и в литературной, писательской

его деятельности) виден не только отпечаток диллетантизма и эклектизма, но и след упорной и настойчивой борьбы с этим отпечатком. Ораторская стихия Луначарского скована стальным обручем марксизма. Вернио был жирондист—Луначарский — большевик. Жорес был социалист - реформист,— Луначарской—большевик.

Марксизм, большевизм для Луначарского—это безусловно самоограничение, весьма необходимое для некоторой расплывчатости его творческой психики, это русло, выпрямляющее некую извилистость его ораторской мысли, это стержень, скрепляющий некую рыхлость его ораторского темперамента. И лучше всего Луначарский там, где самоограничение, русло и стержень—одерживает наиболее целостную и полную победу.

Такова, например, речь Луначарского „Ленин и молодежь".

Эта речь, поистине, величественное здание: оратора вдохновил тот драгоценный материал, из которого он складывал эти здания, ибо кирпичами здания послужили ленинские цитаты. Этот материал—не рыхл, не расплывчат, не скользок— ведь, это стальные кирпичи. И строитель-комментатор—оказывается достойным материала. Характерна сама композиция речи. Ленин и молодежь—эту тему можно было бы сузить до пересказа ленинских цитат по соответственному вопросу; можно было бы и расширить, включив в эту тему все, что в нее включить можно. Оратор свел всю речь к ответу на проблему: кого учить, чему учить и как учить с точки зрения Ленина и ленинизма. И тут был подлинный творческий комментарий, не средневековое чтение текстов, не экзегетика, выдающаяся иногда за комментарий, не буквенный анализ цитат, а умение на базе отдельного гениального намека построить стройную систему. Оратор приводит слова Ленина:

„Надо позаботиться, чтобы, по возможности, всякое знание усваивалось в порядке реальной трудовой проблемы".

Что означают эти слова, спрашивает оратор:

„Это очень трудная с точки зрения чисто педагогической задача, но марксистская и глубоко верная. Тебе нужно дать задачу по вычислению, возьми какое-нибудь вычисление, необходимое для твоего района, для кооператива, который рядом работает, для ремонта, который производится в том же здании, возьми пример из абсолютно реальной жизни, по возможности, не выдумывая, т. е., чтобы каждая задача была разрешением

задачи, поставленной окружающим миром труда. Надо учить механику, химию, астрономию, входя, внедряясь в те органы общественнной жизни, которые этим и для этого живут, где все это применяется, как отдельные элементы общественного строительства. Это трудно, мы все это знаем. Мы считаем, что сельско-хозяйственный уклон может быть дан в одну сторону, промышленный—несколько в другую, что мы можем опираться на муниципальное хозяйство, на общественную жизнь города с его больницами, почтой, телеграфом, пожарной командой, канализацией и водопроводами, всякого рода городской статистикой и т. д. Мы знаем, что людям, которые займутся постановкой такого обучения, придется у нас встретиться с массой препятствий, учебных, практических, лабораторных. И чем больший круг заменит у нас в нашей педагогике трудовой метод,—метод целесообразного и общеполезного труда, как воспитательного импульса, тем более мы будем ближе к тому, что, изучая все стороны буржуазной науки в глубокой связи с практическими задачами времени и размахом революции, мы будем застрахованы от восприятия лжи за истину. Ложь будет отпадать потому, что она будет проверяться практикой.

Вот что значит подлинно комментировать, вырастить из зерна намека крепкий колос реальной схемы, вот где проявляется конгениальность комментатора и комментируемого, где мысль комментатора смело и точно мчится по проложенному комментируемым руслу.

Происходит так, конечно, потому, что тут ленинский материал диктует необходимость самоограничения, ленинское русло вбирает мысль оратора, ленинский стержень крепит его постройку...

В итоге своего анализа Олар отводит от Вернио упрек в декламации. Не пристанет этот упрек и к Луначарскому.

Но этот прекрасный, полнозвучный голос, умеющий передать самый тонкий нюанс мысли, умеющий подчеркнуть фразу, слово, слог, умеющий задержать внимание аудитории на одном ударении, голос, владеющий секретом презрительной скороговорки и патетического замедления, этот широкий охватывающий всю аудиторию жест, эти величественные периоды речи, где все, каждый предлог на своем месте, эти периоды,

в которых сверкают художественные образы, реализованные до конца, использованные максимально, этот тщательный, точный отбор наиболее красивых, наиболее звучных слов, эта филигранная отделка эпитетов и концертно проведенное нарастание глаголов, это искусно проведенное горячение холодного по существу темперамента, так сказать, монтаж темперамента (ибо, по существу, ораторский темперамент Луначарского холоден) и, наконец, эта чистота и благородство композиции речи,—о чем говорит все это?

Говорит о большом, подлинном, единственном у нас, риторе.

Луначарский, как и в свое время Вернио, как в значительной степени Жорес,—ритор. Ритор Октябрьской революции.

Быть может, существует некая непременная и причинная связь между душевным складом гуманиста и ораторским складом ритора. Чисто эмпирический взгляд как будто подтверждает эту гипотезу. На этом мы не будем останавливаться. Не будем также ставить вопрос, не является ли риторская форма красноречия наиболее чистой формой ораторского искусства.

Нам важно другое. То, что эта форма красноречия, считавшаяся органически свойственной французской революции, и потому, быть может, вошедшая в историю политического красноречия, как типическая форма буржуазно-политического красноречия, благодаря Луначарскому, засияла новым светом в революционном красноречии Октября.

С любой из великих речей Бриссо, Вернио, Гаде и Иснара, с любой из мощных речей конвента—с честью сравнится, например, речь Луначарского на процессе эсэров. Наша трезвая деловая революция дает достаточно материала и для великих риторов.

Над этим материалом работают два крупно талантливых ритора нашей эпохи: Маяковский—в области поэтического слова, и Луначарский—в области политической мысли. С восхищением и уважением нужно относиться к их работе.



КАРЛ РАДЕК.

— Вы арестованы, господин офицер!

Это взволнованное восклицание разбудило меня... А может быть я проснулся от того, что стало вдруг холодно: когда я заснул, я сидел посредине, между т. Радеком и т. Иоффе, и это согревало, а проснувшись, я увидел, что они оба на ногах... Увидел... Это тоже было странно, ибо, когда я засыпал, вагон был погружен в мрак, а теперь в лицо била полоса яркого света. И в этой полосе, в центре ее, я увидел высокую фигуру германского офицера, в полном походном снаряжении; к пуговице пальто был привешен остро горевший электрический фонарик.

Обращаясь к этому офицеру, воскликнул Радек по-немецки, взволнованным, но четким голосом:

— Вы арестованы, господин офицер!

А между тем, арестовать этого офицера было довольно трудно...

Дело происходило в середине декабря—16-го или 17-го—1918 года, в вагоне поезда, состоявшего из двух жестких вагонов и паровоза и находившегося на железнодорожных путях между Двинском и Ковно. В этом вагоне находилась делегация ВЦИК'а, следовавшая на первый всегерманский с'езд советов, открывшийся на-днях в Берлине. Делегация, состоящая вместе с техническим персоналом из 9—10 человек, под

председательством т. Иоффе, выехала накануне вечером из Двинска. Двинский германский „золдатенрат“ обещал нам, что мы доедем беспрепятственно через германский фронт до прежней границы, и оттуда нас направят дальше на Берлин. Однако, как мы узнали впоследствии, „золдатенрат“, находившийся под влиянием офицеров, обманул нас и направил наш поезд по путям в Ковно—логовище знаменитого генерала Гофмана. Поезд наш был остановлен на станции Молодечно, кажется, сильным германским отрядом, вооруженным пулеметами и всем, чем полагается. Германский офицер зашел в наш вагон, чтобы осведомить нас, что дальше мы не поедем, и участь наша неизвестна. Оба выхода из вагона были заняты вооруженными до зубов постами; в сером тумане брезжащего зимнего утра мы увидели через окно выстроившийся на перроне в боевой готовности отряд. На окна были направлены пулеметы.

При такой обстановке энергичное восклицание Радека меня несколько удивило, показалось слегка неуместным, преждевременным так сказать... Или, быть может, Радек—этот первоклассный агитатор революции — хотел с'агитировать германского офицера в том, что он арестован!

Речь делится на письменную и устную, устная речь делится на ораторскую и разговорную... Речь бывает далее синтаксическая и грамматическая... Все эти истины из теории словесности, может быть, очень хороши, но в случае Радека они неприменимы, ибо у Радека только одна речь—Радековская.

Это поистине своеобразная речь. Бешено остроумная (Радек начинен остроумием, как стручок горохом), скачущая сломя голову (Радек сам ртуть, и мысль его ртуть), уснащенная цитатами из библии и сегодняшнего номера газеты (для Радека и те, и другие полезный материал),—эта своеобразная речь, будучи лакомым кусочком для историка революции, явится отчаянной головоломкой для ее филолога. И есть от чего прийти в отчаяние:

„Английские капиталисты... теперь вдруг нашли в своем сердце громадную ненависть к капиталистам“...

Или:

„Война кончилась разгромом германского капитализма, о котором ни один рабочий и крестьянин востока не должен проливать слез“...

Еще:

„Восточная политика советского правительства не есть дипломатический маневр, не есть бросание народов Востока в огонь, чтобы русская советская республика могла, продавая их, получить для себя выгоду".

Это первые попавшиеся на глаз примеры, из одной, оказавшейся под руками речи (Международное положение и задачи трудящихся масс на востоке).

Есть от чего прийти вотчаяние филологам...

Но, повидимому, десятки и сотни тысяч рабочих и работниц, слышавших речи Радека за эти годы,—не филологи. Ибо они не приходили в отчаяние. Я могу говорить об этом, как свидетель.

Они смеялись—часто, охотно и весело, Радековским остротам, которые, выражаясь актерским языком, „доходят" до слушателя на все сто процентов, они, как сказку, затая дыхание, слушали из уст этого человека, необычность вида которого еще больше подчеркивала необычность его речи,—необычайный рассказ о сложнейших, запутаннейших делах и вещах—сложнейших и запутаннейших проблемах международной политики; они с напряженным, но неустанным вниманием следили за вихрем цифр, за фантасмагорией цитат, за калейдоскопом имен и названий, каковые демонстрировал перед ними Радек с ловкостью и легкостью механика, разбирающего до винтиков сложную машину; они наслаждались богатством аргументации, блеском мысли, силой примеров и, наконец, неукротимостью движения, которая исходила от оратора и передавалась в аудиторию, заставляя и аудиторию ощущать состояние движения... И они понимали.

Они понимали речь Радека, несмотря на всю живописную ее неправильность, несмотря на пляску глаголов, сарабанду падежей, сумасшедший танец подлежащих... Несмотря на безнадежный анархизм его ударений... Несмотря на то,—и это еще важнее,—что Радек никогда не сюсюкает, не упрощает, не разжевывает, не применяется к аудитории по типу лекторов из какой-нибудь „армии спасения"... Несмотря на то, что Радек на трибуне—это не слащавый популяризатор, а ответственнный политик-агитатор.

Как будто бы „несмотря на то“, а по существу, именно „потому что“. Потому, что Радек является изумительным агитатором,—он понятен аудитории.

В чем суть агитации? В умении сделать тот предмет, о котором говоришь, важным и нужным для своей аудитории, в умении сделать эту тему насущной для слушателя, ввести ее в круг его интересов, в рамки его переживаний. Именно это умеет Радек.

Его статьи и речи много способствовали тому, что круг вопросов международной политики введен в обиход широких рабочих масс.

Но в чем же секрет его умения! Как он это делает?

Не ораторское искусство играет здесь роль. Как и всякий почти деятель Октябрьской революции, Радек не плохой оратор. Но он не Троцкий, не Зиновьев, не Володарский...

В одной из своих речей, произнесенных в первые дни германской революции, в ноябре 1918 года,—это была одна из лучших его речей,—Радек, говоря о причинах разгрома германского империализма, несколькими яркими штрихами очертил психологию германского крестьянина, которого подхватила и завертела мощная машина милитаризма. Помню, меня очень заинтересовал тогда этот прием Радековской агитации. Этот прием я встречал потом часто у Радека.

Он оживляет историю и персонифицирует политику. Блестящий выявитель метода марксистского анализа, он совмещает этот метод с журналистско-памфлетистским подходом к описываемым и анализируемым событиям. За событиями он всегда видит людей. Его речи и статьи—они не отличаются и по стилю, ибо Радек всегда диктует свои статьи, в постоянной ошибке принимая всегда машинистку за аудиторию,—это живая фотография, панорама.

„Сейчас в Америке никто еще не думает о войне с Англией. Народные массы этим вопросом совершенно не занимаются. Но тот маленький круг людей, которые во всяком государстве думают на 50 или даже сто лет вперед, этот круг людей, существующий и в Америке, уже делает свои заключения. Положение вещей они определяют так. На земном шаре имеются две самые мощные промышленные и одновременно самые мощные морские державы. Столкновение между

ними вполне возможно, и тогда каждая из них будет представлять очень лакомый кусок для победителя. Происходит смена правительств, министерств, а тот круг людей, о которых мы говорим, ничем не смущаясь, сидит себе где-нибудь в штабе или канцелярии и делает свои политические выводы. Имея своих людей в министерствах иностранных дел, часто даже не занимающих там видных постов, но таких, которые продолжают намеченную линию политики, этот маленький круг людей всегда удерживает в своих руках то, что имеет. На Вашингтонской конференции, поэтому, Америка, руководимая этим маленьким кругом, предвидя возможность столкновения с Англией, сняла вопрос об уничтожении подводных лодок и требовала, чтобы уничтожили дредноуты, а не подводные лодки".

Абстрактная, трудно усваиваемая мысль о самостоятельном существовании преемственной, несмотря на внешние изменения, линии политики,—сразу стала „житейской", бытовой мыслью, конкретизировалась, оделась в плоть и кровь, благодаря введению символа „маленького круга людей". И, несмотря на тяжеловесность ее изложения, эта мысль стала близкой аудитории.

Вот еще более разительный пример. Радек говорит о капитуляции германской буржуазии в Руре:

„Почувствовав, куда идет дело, германская буржуазия хотела отыграться на спине рабочего класса... хотела, чтобы ответственность за капитуляцию пала на рабочий класс. В начале июля 1923 г. вся германская пресса вдруг начала сообщать о рабочем восстании в Руре. Никто ни о каком восстании не знал, а вся пресса была полна сообщениями: коммунисты совместно с французскими коммунистами начинают восстание и т. д. Ясно было, что германская буржуазия хотела вызвать столкновение рурского пролетариата с Францией, чтоб залить кровью рабочих рурский бассейн, а затем сказать Франции: мы, ведь, капитулировали, за восстание ответственны спровоцировавшие выступление коммунисты; или же германская буржуазия хотела напугать Францию, и тогда этот разгром был бы совершен, как национальная месть против коммунистов-предателей... Но наша партия удержала массы от столкновения и заявила правительству Куно: не наше дело об'яснять Пуанкаре, кто разрушает производство в Руре, но если вы

хладнокровно подготовляете кровопускание рабочего класса, то вы—большее зло, чем Пуанкаре. И наша партия, бросавшая раньше лозунг—долой Пуанкаре, теперь сказала—долой Куно".

Мы видим, как агитатор драматизирует тут историю, превращая схемы в диалоги и положения в монологи. Диалектика у Радека становится подлинно диалектикой, в точном смысле этого термина. И, соответственно этому своему методу изложения, Радек чаще всех других современных политических ораторов пользуется цитатами: ими он вводит в свое драматургическое построение все новые и новые персонажи. И от этого его речь приобретает, как это было отмечено выше, стремительный, динамический характер, история у него действует, а сухие цифры говорят живым человеческим голосом...

А это то, что нужно. Ведь известно, что лучший способ агитации—это театральное зрелище, что агитация через зрелище легче всего доходит до аудитории.

Речь Радека—это, конечно, не театральное зрелище. Но, как это ни странно звучит, она является наибольшим приближением к театральному зрелищу, которое вообще возможно для ораторской речи. Этот изумительный агитатор—талантливый режиссер политических идей. И, вводя в свои речи в большом количестве элемент остроты, фельетона, Радек действует лишь, как опытный режиссер, знающий, что никакое театральное зрелище неприемлемо без элемента смеха...

Радек добился своего. Правда, ему не удалось арестовать германского офицера на станции Молодечно, но зато германскому офицеру не удалось и нас арестовать. Больше того, ему не удалось отправить нас к генералу Гофману, который в Бресте уже сталкивался с насмешливой диалектикой Радека и не имел основания особо ее любить... По прошествии двух дней, подчиняясь ясно выраженному давлению германских солдат, командующие отрядом были принуждены отправить наш поезд на нашу территорию. Принуждены были потому, что все солдаты, сменявшиеся по очереди в качестве караульных в нашем вагоне, были ненадежны; радековская агитация принесла свои плоды.

Агитатор должен сблизиться с об'ектом своей агитации. И Радек в эти дни превзошел самого себя. Он не только называл по имени каждого солдата из караула, но был

прекрасно ознакомлен с состоянием их невест, жен и детей... Он рассказал солдатам на различных германских наречиях— Радек вообще предпочитает наречие языку—сотни всяческих анекдотов, острие которых, однако, всегда как-то повертывалось в сторону политической агитации; он неистово острил, и среди острот ухитрялся ознакомить своих слушателей не только с положением советской России, но и с положением Германии и тех германских областей, откуда они были родом; не довольствуясь собственной агитацией, он сумел заставить этих солдат агитировать друг друга, и в конце концов, как овечек, привел их к т. Бухарину, который перевел их в высший класс пропаганды и прочел им университетский курс политической экономии. Этого германский офицер выдержать не мог, и нас спешно отправили на советскую территорию...

Я знаю, что будет с Радеком, если этот международный агитатор попадет на острова Фиджи, к людоедам... Через две недели он будет знать фиджийский язык достаточно неправильно, чтобы произносить длинные речи, ознакомится со всеми закулисными сторонами фиджийской внешней и внутренней политики, оснует первую фиджийскую газету, в которой будет полемизировать с социал-соглашателями, а еще через две недели, если к тому времени империалистские круги людоедов не с'едят его, будет избран президентом фиджийской советской республики и поднесет остров Фиджи в подарок Коминтерну и мировой революции...

Ибо, если на свете есть большевистская бацилла в человечьем образе, то это Радек, агитатор Октября в мировом масштабе, двуногая Октябрьская ртуть, которая заставляет в любую температуру скакать налево.



Л. Д. ТРОЦКИЙ.

Взгляд упал на его имя в газете. Читаю заметку о кустарной промышленности. Вот эта фраза: „Ванькой-Встанькой нашей промышленности назвал тов. Троцкий все русское кустарное дело".

Когда мы думаем о современной литературе,—мы не можем не подумать о „попутчиках". Этот термин принадлежит Троцкому.

Этот термин хорош тем, что, ставя проблему, он ее одновременно решает.

Счастливый термин.

Проблема литературы—это довольно важно. Но русская революция знала и более важные проблемы. Например, хотя бы проблему Керенщины. „Счастье" не изменило Троцкому при постановке и этой проблемы. И в этом случае, сказав свое знаменитое: „Математическая точка бонапартизма" — он одновременно поставил проблему и разрешил ее.

Я помню хорошо этот момент. Я помню „Демократическое Совещание". Тусклый питерский сентябрьский денечек, дымно-тусклый зал Александринки, где происходит последний перед переворотом диалог мягких и твердых русской революции. Грязные деревянные мостки, перекинутые через оркестр, со сцены в зрительный зал. И на мостках движется мелким бесом весь тусклый и посеревший человечек—полуребенок-полустарик,—и бросает в притаившийся воздух фальшиво

звучащие грозные слова: это эпилептик русской революции Александр Керенский—истерикой хочет остановить историю.

А Троцкий, выступавший на следующий день — весел. И самой острой молнией падает эта формула: „Режим, в котором наиболее ответственное лицо, независимо от собственной воли, становится математической точкой будущего русского бонапартизма".

Те, на которых обрушилась режущая молния, пытаются оградиться от нее пыльником слов: „Ложь, демагогия".

Троцкий помолчал. И грозовая веселость молниемета сменилась холодной уверенностью бесстрастного аналитика.

„Товарищи,—заговорил он успокаивающе,—здесь нет демагогии, здесь сказано в терминах вполне об'ективных, что из определенных политических комбинаций вытекает неизбежная тенденция к единоличному режиму."

В нашей журналистской ложе усиленно задвигались карандаши. Даже репортер „Речи" понял, что молнийной формулой о бонапартизме — одним ударом ставится, освещается и решается важнейшая проблема дооктябрьского периода русской революции.

Через пять месяцев. Дуэль отточенного диалектического клинка с хамским солдатским сапогом. Против Троцкого — Чернин, Кюльман, генерал Гофман, Талаат-паша. Эстетный Чернин с удовольствием говорит в своих мемуарах об „интеллектуальном турнире". Он ошибается, австрийский граф. Интеллект был лишь с одной стороны. С другой стороны была тупая уверенность в силе кулака. Английский журналист Артур Рэнсон говорит о схватке „Давида — Троцкого и Голиафа—Гофмана". Это вернее. С той поправкой, что если Голиаф в Бресте не был на смерть разбит или, по крайней мере, не сознавал этого, то был на смерть поражен. Формулой. Не той фомулой, которую Троцкий противопоставил карте новых границ, нарисованной Гофманом. Эта формула гласила: карты границ рисуются и перерисовываются, а народы остаются... В этой формуле для Гофмана звучала „идеология"... Он к ней отнесся презрительно. И когда 10 февраля начинает Троцкий оглашать свою последнюю декларацию и когда доходит до слов,—„мы не желаем более принимать участие в этой империалистской войне" — Кюльман обменивается презрительной улыбкой с Черниным и Гофманом:

бессильная формула, после всех разговоров—этот „идеолог“ подпишет... Но не проходит и минуты, как в стенах офицерского собрания Бреста раздается еще одна формула, формула-бомба, отзвуки взрыва которой наполняют весь мир:

„Отказываясь подписать аннексионистский договор, Россия об'являет со своей стороны состояние войны законченным“.

Заседание прерывается в панике на немецкой стороне, Кюльман хватается за голову, секретари в порядке военной поспешности ищут во всеобщей истории войн что-либо похожее на эту разрывную формулу-бомбу, которая заново ставит и заново решает проблему империалистской войны и аннексионистского мира. Не находят. Давид сам изобрел свою пращу.

Но германский империализм понимает, что эту формулу нужно уничтожить, что эта формула его разлагает, что существование его с этой формулой—немыслимо. И он предпринимает—германский империализм—свое последнее, самоубийственное наступление 18—21 февраля. Как будто он торжествует победу, как будто эта формула расстреляна германскими пушками, обстрелявшими Двинск...

Но это иллюзия. Словно в романах Уэльса — формула-бомба глубоко зарыта в земле и не потеряла своей взрывчатой силы.

Она взрывается и взрывает германский империализм и монархию ровно через 10 месяцев, 9 ноября, на улицах Берлина, и отзвуки ее слышны в Компьенском лесу, где, подписывая перемирие с маршалом Фошем, Эрцбергер грозит ему в отчаянии прибегнуть к формуле Троцкого...

Где и когда научился Троцкий этому искусству, которым владеет он со страшной силой, искусству формулы, проблему ставящей и проблему разрешающей!

Когда применил он впервые это искусство?

В 1907 году на третьем с'езде партии, когда, видоизменяя формулу Плеханова, отчеканил пророчески: „Победа революции возможна у нас, лишь как революционная победа пролетариата, или невозможна вовсе!...“

Или 18 октября 1905 года, когда бросил он в аудиторию из десятков тысяч с балкона университета, потрясая правой рукой, в которой держал экстренный выпуск газеты с текстом манифеста 17 октября:

„Царский манифест — смотрите—это простой лист бумаги. Вот он перед вами, а вот он скомканный у меня в кулаке. Сегодня его дали, а завтра отнимут и порвут на клочки, как я теперь рву эту бумажную свободу на ваших глазах.“ И великолепным жестом он развеял по ветру клочки бумаги...

Или еще раньше, говоря с амвона мрачной церкви, в Лондоне, в 1903 году, на втором с‘езде партии, когда в полемике с рабочедельцем Акимовым по поводу „Искры“, с прекрасной точностью формулировал он:

„Не имя (Искры) утверждаем мы, тов. Акимов, а знамя, знамя, вокруг которого сплотилась наша партия“...

И когда ответили ему аплодисментами пятьдесят серьезных людей, с‘ехавшихся в Лондон не для аплодисментов.

На этом же с‘езде говорил Троцкий о значении формулы, как удавной петли. Мне пришлось присутствовать при произнесении им одной формулы, прозвучавшей, как залп расстрела, и этот расстрел означавшей.

Он стоял у судейского стола в длинном и узком Митрофаньевском зале бывшего здания Судебных Установлений— ныне здания Совнаркома, в Кремле. Троцкий был более чем всегда спокоен, сух и деловит. Был спокоен и адмирал Щастный — первый военспец, изменивший революции. В Митрофаньевском зале было очень тихо, и Троцкий, дававший показания по делу Щастного, говорил, почти не повышая голоса. Мне казалось, что я вижу Троцкого заново: в новой и непривычной для него роли свидетеля. Показания его были слишком подробны и технически специальны. Я их не записывал. В Митрофаньевском зале было светло — был июльский день, июль 1918 года, но свет не радовал. Троцкий поднял голову. Что-то передалось залу. Он приостановился и словно взял дыхание. Карандаш задрожал у меня в руке:

„Это была определенная политическая игра, большая игра, с целью захвата власти. Когда же г.г. генералы или адмиралы начинают во время революции вести свою персональную политическую игру, они всегда должны быть готовы нести за эту игру ответственность, если она сорвется. Игра адмирала Щастного сорвалась“.

В Митрофаньевском зале было тихо. Адмирал Щастный криво улыбнулся. Он понял, что эта Формула разрешила его проблему. И это понял каждый из нас.

Формула смерти...

Но формула жизни, формула веры в жизнь. Такая формула, которая явилась бы выявителем коллективной веры, массового стремления. Такая формула, услышав которую, воскликнули бы тысячи и сотни тысяч: да, вот так мы ощущаем, чувствуем, переживаем и верим.

Такую формулу нашел Троцкий, когда говорил он 2 сентября 1918 г. по поводу покушения на Ленина. Громадные массы трудящихся ждали какой-то формулы, которая была бы насыщена всей суммой их любви к вождю, всей неутолимой жаждой благополучного исхода — такой формулы требовали они своей молчаливой тоской:

„В разговоре с товарищами по этому поводу, я иначе не мог формулировать создавшееся положение, как такое, благодаря которому наряду с фронтами, какие у нас имеются, у нас создался еще один фронт—в грудной клетке Владимира Ильича, где жизнь сейчас борется со смертью, где, как мы надеемся, борьба будет закончена победой жизни... Этот фронт, кремлевский фронт, является сейчас самым тревожным...“

„Кремлевский фронт... в грудной клетке“. Это формулирует тревогу, но не дает еще меры любви, на которую опирается эта тревога. И потому: „Мы знали, что о т. Ленине никто не мог сказать, что в его характере не хватает металла, сейчас у него не только в духе, но и в теле металл, и потому он будет еще дороже рабочему классу России“.

Формула закончена. Поставлена и решена проблема: любовь к Ленину и тревога за него.

Так вот. Говорит ли Троцкий о кустарной промышленности или о покушении на Ленина, о роли „Искры“ или о деле Щастного, о манифесте 17 октября или о Керенском,—всегда и везде он делает одно дело. Он дает формулу, в которой заключен вопрос и ответ, проблема и решение ее, анализ и лозунг, об‘яснение и призыв, статика и динамика. Формулы Троцкого, многообразные, как жизнь, насыщены диалектикой, движением, потому они всегда жизненны. Но это движение, диалектика эта — не игра мысли, не балансирование в пустоте, формулы Троцкого максимально грузопод‘емны, ибо, характеризуя реальность сущего, они являются мостом в реальность должного, прогнозом грядущего, основанном на комментарии настоящего.

Троцкий — этот человек, формулирующий стихию, — умеет формулировать и эту основную стихию своего ораторского искусства, своего мышления, которое у Троцкого неотделимо от речи, стихию формулы. В своей книге о Ленине, сообщая мимоходом, что он плохо ориентируется в незнакомом городе— не потому ли,—в скобках,—что пространство плохо поддается формулировке,—он замечает полуиронически:

„Я очень плохо разбирался в улицах и из склонности к систематизации называл это свое качество топографическим кретинизмом“.

Склонность к систематизации. Но ядро каждой и всякой системы — это формула. Склонность к систематизации — это склонность к формулировке.

На пятом с'езде Советов, в июле 1918 г., Троцкий сказал о себе: „Я привык в жизни, литературе применять стиль публициста, который я больше всего предпочитаю“.

Октябрьская революция знает много прекрасных ораторов. Как ораторы в тесном смысле слова, Зиновьев, Луначарский, Володарский стоят, пожалуй, выше Троцкого. Но в красноречии Троцкого есть стиль, „который он больше всего предпочитает“ — он называет его стилем публициста. Так ли это? Займемся сейчас формальным анализом ораторского стиля Троцкого.

С некоторой узкой точки зрения это на самом деле стиль публициста.

Мне приходилось записывать — для воспроизведения в газетах—десятки раз речи Троцкого, за период апрель 1917— июль 1918 г.г. И каждый раз при записи у меня было одно ощущение: не речь я записываю, а пишу статью под быструю диктовку.

Казалось бы, что построение почти каждой речи Троцкого— это построение статьи, соответствующее всем законам теории публицистики. Но это не так, вернее не только так. На пятом с'езде советов, на другой день после ликвидации мятежа левых эсэров, Троцкий произносит большую речь, посвященную убийству Мирбаха, этому мятежу, об'яснению его причин в связи с характеристикой партии левых эсэров и выводам из создавшегося положения. В задачу оратора входит рассказать факт, об'яснить факт, оценить факт и сделать выводы

из факта. Речь, естественно, распадается на четыре части: рассказ, об'яснение, оценка статическая и оценка динамическая, т. е. вывод. Казалось бы, что оратор должен начать хронологически—т. е. с рассказа. Однако, Троцкий начинает с третьего момент—с оценки. Убийство Мирбаха—говорит он в самом начале речи—„явилось бессмысленным и бесчестным насилием над той политикой, которую проводит Всероссийская Советская власть".

Заметьте: „бессмысленным и бесчестным". Над головой жертвы подняты сразу два молота. Первым опускается молот бесчестности. Оратор рассказывает, какими методами осуществляли левые эсэры свой акт: вкрались в доверие властей, выкрали документы и т. д. Оценка незаметно переходит в рассказ, слушатели знакомятся с фактом, уже оцененным. И этот рассказ-оценка с естественной, напрашивающейся логикой ведет к итоговой формуле — первой формуле речи, запоминающейся, четкой, всеохватывающей: „Это акт вероломства, который могли совершить только Азефы революции". Сказать „акт вероломства"—было бы мало, формула не была бы прилипчивой, каковой она является теперь, когда она персонифицирует врага, отождествляет его с лицом, которое ненавидит аудитория. У каждого слушателя мысль—что же сделали дальше эти левые эсэры, эти Азефы революции? И каждый знает, что, что бы они дальше ни сделали, поступили они так, как поступил бы Азеф. И оратор, дав отправной пункт мысли и чувству аудитории, переходит к рассказу о дальнейшем.

Он переходит к очерку истории мятежа. Этот очерк очень краток, рассказ незаметно переходит в об'яснение. Убийство Мирбаха и мятеж имели целью вовлечь Советскую власть в войну с Германией. Но:—„Есть ли хоть один сознательный человек, который в настоящих условиях, сегодня, считает возможным войну с Германией"—ставит оратор риторический вопрос. Заметьте, оратор говорит—„возможным", речь не идет о желательности, а только о „возможности", это не случайно. Тут приводится в движение молот „бессмысленности".

Формула о бесчестности и бессмысленности оправдана целиком. Но этого еще недостаточно. Оратору приходится считаться с чувством ненависти к германскому империализму и германской оккупации. Акт левых эсэров, несмотря на его бессмысленность, его бесчестность — какой-то стороной шел

навстречу этому чувству ненависти. И оратор делает мощный призыв к самолюбию партии, к самолюбию страны, к самолюбию трудящихся:

„И вам все скажут, что те, кто путем террористического акта, не через нашу волю, не через наше сознание, а механически, извне, пытались обрушить на нас войну,—те действовали, как злейшие враги, как изменники и предатели Советской власти". Это не оратор говорит — это „все скажут"—оратор применяет здесь классический прием политического красноречия: он более не обвинитель, не судья, в нем нет ни суб'ективности, его личность не важна, она растворилась в этом великом „все", и голосом этих „всех" он служит. Это действует: „не Троцкий говорит, все говорят, каждый говорит, и я мог бы это сказать", — так думает, не может не думать каждый отдельный член аудитории.

Итак, „бесчестный и бессмысленный акт", „Азефы", „изменники и предатели".

Этим уже прониклась аудитория. Но тут требуется еще какая-то деталь, еще один штрих, конкретный штрих, частный штрих, который бросил бы ослепительный луч света на нарисованный так сочно и ярко общий фон; ведь, известно каждому опытному политическому оратору, что, как прекрасно ни доказано общее положение, теоретическое положение — общим, теоретическим рассуждением,—для аудитории необходима некая частная иллюстрация, некий бытовой аргумент. Троцкий дает его, сообщая, что первым актом мятежа левых эсэров, явившимся непременным следствием убийства Мирбаха, был арест председателя Чрезвычайной Комиссии Дзержинского. „Дзержинский"—тот, кто охраняет революцию—проносится в аудитории. И совершенно естественной падает тогда окончательная, заключительная формула оратора, формула, вбирающая в себя все прежние формулы, концентрирующая все нанесенные раньше удары, формула последнего об'яснения и основанной на изложенных фактах оценки:

„Контр-революционный мятеж, организованный под знаменем ЦК партии левых с.-р.".

Тут оратор вновь возвращается к рассказу о событиях— о самом ходе мятежа и военных операциях; теперь нет сомнения, что события будут восприняты в духе об'яснения и оценки. Об'ективный и спокойный рассказ расцвечивается

нотками сарказма, который теперь, когда аудитория уже знает, кто эта партия, и чем является ее акт, звучит как заслуженный удар бича.

За ними (отрядом левых с. р.) было „преимущество вероломства“. Они захватили телеграф—„захвачен он был не силой, а вероломством“. Лейт-мотив вероломства не оставляет в покое аудиторию. Фактическая сторона событий изложена. Следует краткий очерк чисто военной стороны, из которого явствует, что организаторы мятежа оказались бездарными тактиками и стратегами. И эти люди говорили об организации войны против Германии, эти ничтожества хвастались, что они выступят против германского империализма... Оратор не говорит этой фразы, эта мысль и так возникает, не может не возникнуть у аудитории. Контр-революционный мятеж? Да, с одной стороны. Но с другой стороны,—даже не мятеж:

„Сейчас остается только подвести политические итоги этому мятежу, этой жалкой и постыдной пародии на мятеж“—переходит оратор к заключительной части своей речи, поставив этими словами последнее, раз‘едающее клеймо не осуждения, не гнева, а убийственного сарказма. Эта последняя часть—образчик сознательного ораторского мастерства. Видимый ее вывод—это смертный приговор партии левых с.-р.:

„Эта партия убила себя в день 6 и 7 июля навсегда. Эта партия воскрешена быть не может“.

Это острие вонзается в цель. Но есть в заключительной части и скрытое острие, скрытый вывод, тот, о котором не говорит оратор, но который возникает с железной необходимостью у аудитории. Только что цитированная фраза, она является заключительной фразой следующего периода:

„У революционного класса, когда он сознает, что на него наступают его враги, всегда найдется достаточно революционной энергии, чтобы этому наступающему врагу создать величайшее препятствие, затруднение и чтобы заставить израсходовать величайшие массы империалистических сил. Но если бы мы оказались вовлеченными в войну с Германией тем фактом, что убит германский посол, если бы пришлось сдавать Петроград, Москву,—русский рабочий и крестьянин знали бы, что этим мы обязаны не исторической неизбежности, а только провокации левых эсэров. И я потому говорю, что та партия, которая могла быть так безумна, так бессмысленна со своей

маленькой кликой, кучкой,—что стала против воли и сознания подавляющего большинства рабочих и крестьян,—эта партия убила себя в день 6—7 июля навсегда. Эта партия воскрешена быть не может“.

„Потому“ оратора—как будто не оправдывается внешней логикой. Но нужды нет. Аудитория этим „потому“ подготовлена к дальнейшему развитию темы. Оратор указывает, что эта партия, помимо воли рабочих и крестьян, хотела вызвать войну с Германией, не обладая ни армией, ни идеей: „И вот такие кучки, с такой армией и идеей, хотели против *вас* подняться (курсив наш), чтобы вести войну с Германией“. Показывается скрытое острие, выявляется скрытый вывод: война с Германией в данный момент—это преступление против воли трудящихся. И дальше:

„Как бы этот эпизод ни закончился, опасность того, что эта провокация может достигнуть своей цели, еще не исчезла... Опасность еще не прошла. Мы не знаем, каковы будут результаты, но мы знаем одно, что после авантюры 6—7 июля одной политической партией на русской земле стало меньше. Мы явимся вместе с вами всюду, к каждому крестьянину, и спросим—хочешь ли ты теперь, сейчас, сегодня выступить на войну с Германией? Если ты не согласен, то знай, что партия левых с.-р. хотела тебя заставить это сделать, и потому что мы, советская власть, считаем, что это было бы гибельно для тебя, поэтому она пыталась нас представить, как агентов германского империализма“. Две основных идеи речи—переплелись, вывод, к которому вся речь подготавливала, предстал теперь с аксиоматичной ясностью. Одной политической партией—партией Азефов, партией вероломства—стало меньше, и в свою могилу она унесла идею войны с Германией „теперь, сейчас, сегодня“, против воли трудовых масс. Скомпрометировав себя,—партия скомпрометировала эту идею.

Такова комбинация двух главных моментов этой изумительной речи, в которой Троцкий встал во весь свой рост, как политический стратег.

Вспомним те дни. Еще не прошло 4-х месяцев со дня ратификации „похабного“ брестского мира. Наглое наступление германского империализма. Хищная оккупация Украины. Прочная популярность в массах партии левых с.-р., как противников Бреста. Недовольство Брестом среди „левых

коммунистов“. Истерически-зажигательная речь на открытии 5-го с‘езда украинца Александрова о невозможности терпеть дальше оккупационный гнет, кулаки, угрожавшие дипломатической ложе, в которой находились представители германского посольства, и раздавшийся на другой день выстрел в Мирбаха, выстрел, встреченный,—теперь это не секрет,—как справедливое возмездие.

Перед Троцким стояла задача,—одна из самых трудных во всей политической его жизни,—свести с этих рельс настроения и мысли с‘езда советов, а при его посредстве и всей Советской России, и перевести на рельсы другие. Дискредитировать партию левых с.-р.? Не это было целью оратора; да притом этой отрицательной цели легко было бы добиться: эта партия сама дискредитировала себя июльской авантюрой, этого Троцкий добился легко — об‘ективным рассказом о событиях тех дней...

Нет, была иная, положительная цель: вылечить страну от болезненной лихорадки авантюристских выступлений и сделать это так, чтоб никто не мог и помыслить, что советская власть не действует здесь во благо революции. Острие, пронзающее партию левых с.-р., должно было, по заданию оратора, пронзить заодно истерику авантюристских настроений.

Перевести аудиторию с рельс разума на рельсы истерики— это не трудно сделать сильному оратору, но осуществить обратный перевод... Во всей истории политического красноречия немного найдется примеров такого воздействия на массовое восприятие. И Троцкий это сделал.

Как сделал?

Я помню отчетливо эту его речь. Я помню, что и тогда меня поразила несколько необычная ее форма. Не было внешних красот. Не было обычных ораторских приемов. Не было метафор, гипербол, троп, метонимит, взлетов пафоса, лирических отступлений, изящества кружевной диалектики, почти кокетливой парадоксальности формулировок, пикантной остроты иронии—всего этого привычного одеяния мысли и слова Троцкого. Одеяния не было. Просто, страшно просто. Голая мысль, врезавшаяся в аудиторию с непреоборимой силой. Страшно просто и вместе с тем потому—страшно серьезно. И самый звук голоса оратора был прост и серьезен. Троцкий умеет, когда надо,— играть голосом: ведь, если не всякий актер—оратор, то всякий

большой оратор—актер. Но не сейчас. Не было ни одной искусственной или могущей показаться таковой недоверчивому уху—интонации. Серьезный человек говорит с серьезными людьми о серьезном деле: тут не надо интонаций. И он не волновался как будто. Страстность была, конечно, но очень собранная, все время самим оратором одергиваемая, вся внутри и потому заражавшая аудиторию больше крика и жеста. Так, наверно, говорил шекспировский Антонио свою речь римлянам над трупом Цезаря: не был ли Цезарь для римлян тем, чем была в тот момент для Советской России идея сопротивления немцам—навязчивой, болезненной идеей?

Это была речь стратега, единственное оружие которого—разум. И разум победил. Так, как побеждает разум. Троцкий не покорил, не загипнотизировал, не завоевал тогда аудиторию, как это бывает у него часто: он убедил ее. И когда сказал он в своей последней фразе:

„Мы обязаны власть рабочих и крестьян отстаивать теми силами и теми путями, которые мы знаем“.

Хотелось ответить: да, обязаны, будем отстаивать.

Стиль этой речи Троцкого — стиль стратега, сурового полководца.

Но есть у Троцкого речи другого стиля—их больше—стиля бойца, бойца один на один. В этих речах—полемических, причем об'ект полемики тут же в аудитории и у него тут сторонники,—Троцкий предстает одетым во все доспехи своего ораторского красноречия. Тут он дает полным звуком свой голос, этот голос „не оставляющий надежды“ на пощаду противника, голос сарказма, впивающегося в противника, как пуля, с металлическим свистом, голос, низвергающийся на спину противника с ораторского возвышения, как равномерные удары бича, падающие откуда-то сверху, голос высокомерия, застывшего страстью, голос ненависти, отлитой в привычку; тут он развертывает во весь размах свой единственный ораторский жест—короткий, сухой, размеренный взмах рукой,—жест могучий своей повторяемостью и убеждающий своим однообразием; в руке словно молот, вбивающий гвоздь, и гвоздь будет вбит; сдержанность его позы—Троцкий, как я его видел, не движется по трибуне—подчеркивает настойчивость, упорство этого жеста. Тут пользуется оратор „приемами

ремесла“ и он ждет реплики противника, напрашивается на нее, подсказывает ее и, убийственно парируя реплику, с громадным искусством создает у аудитории впечатление, что в этой, случайной может быть, реплике—суть аргумента противника, и убиение этой реплики — есть убиение всего аргумента. Тут, расчетливо и любовно пользуется он знаменитым своим оружием — каждый опытный оратор пытается прибегнуть к нему, но ни у кого не имеет оно такого эффекта,— переводит ораторский монолог в диалог, в диалог свой с воображаемым противником — не нужно указывать, что остается от противника...

Дело было в Питерском совете, в конце сентября, когда Троцкий уже на посту председателя Совета организует умы для предстоящего переворота, когда меньшевики и эсэры, сбежав из Смольного, окопались в Мариинском дворце, в предпарламенте, и предоставили двум юнцам—меньшевику Бройдо и эсэру Каплану (где-то они теперь, в совнархозе, или текстильтресте на постах замзавов?) скрещивать оружие с Троцким.

— Я с большим удивлением выслушивал доводы меньшевиков и с.-р. против лозунга „Власть Советам“ — говорит Троцкий.

— Германский лозунг!—восклицает какой-то обиженный историей подбройдо или подкаплан...

Быстрый взмах рукой—так фехтовальщик выбрасывает шпагу, готовя смертоносный удар,—голос Троцкого сгущается в металл:

— Нет, товарищи, лозунг не из Германии, а вот возглас (пауза, вся аудитория напряглась) из контр-разведки!

— Тов. Бройдо,—говорит в той же речи Троцкий,—упрекал нас в том, что мы стремимся к власти на авось, полагаясь на случайную удачу. Советской власти у нас еще не было, говорит он. Справимся ли мы с ней? Действительно, отвечу я, у нас не было еще советской власти, но у нас, ведь, до февраля и республики не было. Значит, мы сделали ошибку, свергнув самодержавие? Почему, когда у нас проводилось всеобщее избирательное право никто из с.-р. и меньшевиков не выдвигал возражения, что раньше его не было, а потому опасно его вводить?

Аргументы от аналогии. Конечно, нельзя на них базировать научное сочинение, но как убедительны они в устах

политического бойца, рассчитывающего на коллективное восприятие их...

Или знаменитая речь Троцкого 18 сентября на Демократическом Совещании, которой должны были бы открываться все хрестоматии политического красноречия. Троцкий борется против коалиционной власти. Стратагема такова: нужно сначала убить идею о привлечении кадетов в коалицию, имея затем ввиду, что коалиция без кадетов бессмысленна. Исходный пункт атаки—скомпрометированность некоторых кадетов делом Корнилова. В предшествовавших речах один из правых ораторов попытался воспользоваться методом аналогии, указав, что если большевики в свое время протестовали, когда всю большевистскую партию делали ответственными за июльские дни (в 1917 г.), то теперь они не должны повторять ту-же ошибку,—и не делать ответственной всю кадетскую партию за дело Корнилова.

— В этой аналогии есть (с максимальной иронией) маленький недочет: когда обвиняли большевиков, правильно или неправильно—это другой вопрос—в том, что они вызвали движение 3—5 июля, речь шла не о том, чтобы приглашать их в министерство, а о том, чтобы приглашать их в „Кресты" (тюрьма).

Вот тут, товарищи, есть некоторая разница. Мы говорим: если вы желаете тащить кадетов в тюрьму за корниловское движение, то не делайте этого оптом, а каждого отдельного кадета расследуйте!..

Оратор пригвоздил к позорному столбу насмешки неудачную аналогию. Но в коллективном восприяити создалось убеждение, что пригвождена и высмеяна сама та мысль, неудачным обоснованием которой должна была служить эта аналогия. Направлен удар на надстройку, оратор сбросил этим ударом—самую базу.

Троцкий, готовящий революцию, Троцкий в августе—октябре 1917 года, эта страница политического красноречия и полемической борьбы, с честью выдержит сравнение с любой, самой блестящей страницей красноречия французской революции. По этой странице будут учиться ораторы грядущего.

В этот период Троцкий был—грозно-расправляющийся с противником Троцкий.

Но есть еще полемически веселящийся Троцкий, добродушно полемизирующий Троцкий. И это едва ли не убийственнее...

Почти семь лет после этих боев, в мае 1924 г., пришлось Троцкому выступить в полемической стычке. Не по вопросу о коалиции, о Керенском—это уже в области истории. Только по вопросу о политике РКП в художественной литературе.

Об'ектом добродушной полемики были „напостовцы". Спор о роли попутчиков.

Нужен ли Пильняк? Троцкий доказывает, что Лебединский воспитался на Белом, Пильняке и т. д.

— Лебединский еще очень молодой товарищ. Ему нужно учиться и расти. И вот оказывается, что Пильняк нужен... Прежде всего Лебединскому...

Возглас Лебединского: „Но это и доказывает, что я отравляюсь Пильняком!"

Троцкий:

„К сожалению, человеческий организм может питаться только отравляясь и вырабатывая внутренние средства против отравы. В этом и состоит жизнь. Если вас высушить, как воблу, тогда не будет отравления, но не будет и питания, вообще, ничего не будет..."

Тут тот же прием, как и цитированный выше из до-октябрьской полемики: удар, обрушивающийся на неудачное выявление аргумента, всей тяжестью падает на самый аргумент, не только в слуховом восприятии, но и в чтении; пример переплетается с самим аргументом, к невыгоде последнего.

А вот пример того—из той же речи,—как нужно пользоваться аналогией.

Напостовцы обвиняют Воронского в том, что его позиция в вопросах литературы ветречает сочувствие заграничных белогвардейцев. Троцкий протестует против этого обвинения:

— Но, ведь, это инсинуация, а не анализ вопроса. Если Вардин собьется в таблице умножения, а Воронский в этом совпадает с белогвардейцем, знающим арифметику, то тут для политической репутации Воронского ущерба еще нет...

Эта аналогия поражает своей простотой и остроумием. Обычного типа оратор и полемист ею и удовлетворился бы. Но не Троцкий. Для него она—лишь предварительный, легкий

обстрел. В цитируемой речи после нее следует целое рассуждение о классовом подходе к вопросам искусства, обосновывающее тот аргумент оратора, изящной иллюстрацией которого служит эта аналогия, и затем заключительный вывод, из категории тех знаменитых формулировок Троцкого, о которых говорилось выше:

— И если мне чего совестно, так не того, что у меня в этом споре может оказаться формальное совпадение с каким-нибудь понимающим искусство белогвардейцем, а того, что я вынужден перед лицом этого белогвардейца раз'яснять рассуждающему об искусстве партийному публицисту первые буквы в азбуке искусства...

Заметьте здесь: не „полемизировать" должен Троцкий, а „раз'яснять". Каков последний удар! Но это уж от обилия ораторских богатств, по существу приема этого и не нужно было.

А существо приема в том, что теоретическим рассуждением и последующей классической формулировкой была оправдана сама по себе легко-весомая аналогия, которая, однако, оказалась достаточно ударной, чтоб взрыхлить почву для восприятия, рассуждения и формулировки.

Этих примеров, пожалуй, достаточно. Мы ознакомились с целомудренным стилем сурового стратега, и с весело-грозным стилем бойца-полемиста.

Но есть у Троцкого и третий стиль. Стиль величественного пафоса: пафоса большой фразы и большой мысли.

Этот пафос большой фразы, не могущий, конечно, служить содержанием речи, часто используется Троцким в качестве эффектной концовки захватывающего начала, или прочного моста, по которому оратор переходит от одной части речи к другой, если эти части не об'единены единством содержания. Таким мостом, например, послужила величественная знаменитая фраза, цитированная выше, о металле в теле Ленина, после которой оратор перешел к изложению стратегического положения на фронте.

Один из наиболее ярких образчиков большой фразы—моста встречается в речи Троцкого после взятия Казани:

— „Мы дорожим наукой, культурой, искусством и хотим сделать их доступными для народа. Но если бы наши враги

захотели нам снова показать, что это существует только для них, а не для народа, мы бы сказали: гибель науке, культуре и искусству".

Сильно. Но оратор знаком с законом усиления образа и понимает, что именно здесь нужно применить этот закон. И он продолжает:

— „Мы, товарищи, любим солнце, которое освещает нас, но если бы богатые и насильники захотели бы монополизировать солнце, мы сказали бы: пусть солнце потухнет, и воцарится тьма, вечный мрак..."

Величественный, библейский пафос. И ему соответствует библейское: богатые и насильники.

Троцкий продолжает:

— „Именно из-за этого шла борьба под стенами Казани: из-за этого она идет на Волге и Урале, идет из-за того, кому будут принадлежать дома, дворцы, города, солнце, небеса..."

Солнце упомянуто еще раз, но не в качестве основного образа, как раньше, а подсобного, так сказать, материала. Мост перекинут, и оратор переходит к очерку общего политического положения, причем аудитория уже насыщена пафосом сознания радостного момента—перелома гражданской войны, наступившего со взятием Казани.

Кажется на первый взгляд странным сочетание в ораторском искусстве Троцкого жгучей иронии, бешеного сарказма и торжественного полнозвучного лирического пафоса. Но так ли это странно? Не один ли шаг от сарказма к лирике? Не является ли сарказм отправным моментом подлинной лирики? Вспомним о Гейне, о Лассале!..

Искусная комбинация лирики и сарказма является фундаментом в здании тех речей Троцкого, в которых он выступает как оратор большой, величественной мысли, как оратор-политик, с громадным размахом, оратор, освещающий период и обобщающий громадную серию фактов, оратор, речь которого—парящий полет.

Серию таких речей произнес Троцкий в апреле—июле 1924 года.

Вот одна из них: „На путях европейской революции".

Обращает внимание исследователя раньше всего поразительная уверенность этой речи, каждого ее раздела, абзаца, фразы, слова. И поразительная легкость: у оратора уверенно

и легко льется мысль, оратор неотделим от мысли, он—персонифицированная мысль. Про эту речь, про эту мысль, про этого оратора нельзя сказать—он мыслит на трибуне, как можно сказать про многих ораторов, тем самым подчеркивая, что у них виден и слышен аудитории самый процесс мысли, и что этот процесс есть процесс преодоления каких-то препятствий, победа над какими-то затруднениями. Здесь процесса мысли не видно, здесь есть только ее результат, чистый стопроцентный результат, золотой песок без примесей и шлаков. Отсюда впечатление изящной легкости и железной уверенности,—впечатление, которое приводит, конечно, к тому, что соответственно легко и уверенно воспринимает слушатель раздающуюся с трибуны мысль.

Впечатление уверенности и легкости создается в самом начале: очевидно, потому, что оратор не ищет искусственного начала. Указав, что он даст обзор международного положения, оратор сразу показывает стержень, на который он будет нанизывать серию фактов, он дает общую, охватывающую формулу международного положения, заставляя в дальнейшем самого слушателя ввести сообщаемые факты и выводы в русло этой формулы.

Обзор положения делается самым естественным методом: по странам. Оратор начинает с Румынии, переходит к Франции, „которая стоит за Румынией", от нее естественный переход к Германии, затем к Англии и, наконец, к международному положению СССР и к внутренним задачам. Построение, как мы видим, самое не хитрое. Троцкий мастер и на хитрое построение, когда это нужно. Но эта речь—как, впрочем, и все речи данной серии—выдержана в стиле величавой простоты.

Говоря о Румынии, т. е. о Бессарабии, он строит речь на игре сравнений и комбинации намеков, легко раскусываемых аудиторией: оратор не желает, чтобы его речь, как официального лица послужила поводом к дипломатическому конфликту, но он желает, чтоб его аудитория знала об этом сдерживающем его речь нежелании. И когда он говорит—„Румыния имеет армию, и мы кое для чего имеем армию", и эта фраза встречается аплодисментами, то он умело пользуется аплодисментами для одного из намеков, заявляя (нужно полагать с оттенком укоризны):

„Товарищи, ваши аплодисменты могут быть поняты в Румынии так, будто вы желаете пустить в ход армию“.

И затем, когда он заявляет:

„Мы не признаем захвата—это раз, а затем выжидаем“.

И заканчивает этот раздел ловко дипломатической, но в то же время твердо односмысленной формулой:

„У нас здесь политика, я бы сказал, выжидательная, не вполне нейтральная, и во всяком случае, не очень благожелательная“.

То слушателю уже все ясно, и слушатель тверже проникся идеей оратора, чем если бы эта идея была преподана с потрясением кулаков, и в окружении пышных слов о хищниках империализма и т. д.

Оратор вскрывает затем кулисы внешней политики Франции. Он не вульгаризирует, а упрощает, отсеивает шелуху, отбрасывает детали, оперируя основными, большими, широкими линиями, и эти линии не с неба падают для слушателя, слушатель следит за процессом их нахождения. Ясное и суховатое изложеное оратор переплетает блестящим образом, смелым сарказмом:

„Есть довольно серьезные сведения, что Франция стремится поссорить нас с Турцией. Хотя французский франк сильно пал, он все же, повидимому, приятно звенит для уха некоторых турецких журналистов“.

Несколько дальнейших штрихов анализа—и заключительный вывод, кристально ясная формулировка:

„Если Клемансо не погубил нас блокадой колючей проволоки, то Пуанкаре не запугает нас политикой булавочных уколов“.

Для внимательного слушателя положение выявляется с максимальной наглядностью одной только разницей в значении глаголов—погубить и запугать: разница в этих глаголах—это разница в международном положении советского союза тогда, при Клемансо, и теперь, при Пуанкаре, и, в качестве побочного вывода,—различие между двумя этими фигурами. Тщательная экономия слов сочетается здесь с щедростью мысли, и эта щедрость богатит напряженных слушателей, щедро тратящих свое внимание.

Говоря затем о Германии, Троцкий чуть меняет темп речи. И понятно, ведь, он говорит о таком болезненно-остром для

аудитории и важном вопросе, как неудача германской революции. Речь становится нервнее, повидимому, быстрее, голос больше модулирует, применяется прием повторения, нарастания, усиления, риторического вопроса и ответа. Тут же ораторское искусство приходит на помощь мысли, очевидно, потому, что эту мысль оратор считает еще непривычной для аудитории и хочет ею аудиторию заразить до конца, пронизать насквозь. Вот типическая в этом смысле фраза:

„Будущее за нами. Но нужно правильно проанализировать прошлое. Поворот прошлого года, в октябре—ноябре, когда пришел германский фашизм, когда пришла крупная буржуазия—это есть величайшее поражение. Так мы должны его оценить, записать, и в памяти закрепить, чтобы учиться из него. Это есть величайшее поражение. Но на этом поражении германская партия учится, закаляется, растет".

Слушатель не может не обратить внимания на повторение фраз, на нарастание глаголов. И он слушает в ином темпе: он становится ближе к трибуне, он захватывается ею, он не слушатель только, а участник в этом учении и закале, о котором говорит Троцкий, ибо оратор не скрывает от него, что это „величайшее поражение" потерпел и он.

Приблизившись, таким образом, к слушателю, оратор берет затем его на высоты широкого, величественного обобщения о судьбах мировой революции, построенного на учете трех исторических опытов: опыта России в 1917 году, Италии в 1920 году и Германии в 1923 году. Речь оратора становится плавнее, спокойнее, математичнее: исторический учет незаметно переходит в историческое передвижение, слушатель увлечен развертывающейся перед ним мощной динамикой мысли; германское поражение, которое несколько минут тому назад было для него болезненным переживанием, теперь, включенное в общую громадную систему событий, становится уже пережитым, закономерно-историческим фактом, об'ектом учения, а не оплакивания.

Троцкий переходит к Англии. Он более не излагает, не повествует, не учит: он бичует. Цементом и проводами, скрепляющими эту часть речи—являются диалектика и сарказм. Он пользуется методом иронической вежливости по адресу Макдональда и рабочего правительства Англии, методом, усовершенствованным до такой степени, что у оратора появляется

некий пафос иронической вежливости. Политическое красноречие знает закон пафоса расстояния.

Троцкий сейчас не в единоборстве, не в схватке с Макдональдом. Он экспонирует Макдональда, он снабжает каждого слушателя лупой и микроскопом, и Макдональд со своим правительством видны слушателю во всех мельчайших деталях. А он, как учитель естественной истории, помогает слушателям в этом изучении непривычных видов под микроскопом, об'ясняя, уточняя, обращая внимание на отдельные детали. Следуют одна за другой изумительные формулировки, внешняя парадоксальность которых делает их острее для восприятия, легче для усваивания.

„В Англии соглашательская, я бы сказал,—меньшевистская церковь. А с другой стороны, английский меньшевизм насквозь проникнут духом поповщины“.

Или вот образчик совершенно искрящейся, пьянящей своей красотой диалектики:

„Капиталисты требуют от нас через Макдональда уплаты царских долгов. Когда же это сорвавшийся с веревки платил палачу за эту веревку? А мы сорвались с царской веревки, и будем платить английской бирже. Да нет, никогда! Наши собственные обязательства мы выполняем строго: так, мы открыто и торжественно обязались на первом совете 1905 г. не платить царских долгов, и это международное обязательство мы выполняем“.

Наступает заключительная часть речи. Снова мощный полет плавной и спокойной политической мысли. Снова статический анализ положения переходит в динамический синтез предвидения. Незаметный поворот рычага мысли и развернутая система международного положения прикреплена к вопросу о внутренних задачах советского союза. Хозяйственное строительство, военное строительство, национально-культурное строительство, связь партии с классом, все эти старые, привычные темы предстают перед зрителем вмонтированные в мощно развернутую общую цепь политической мысли. Приближается конец речи. Слушатель напрягается. Он ждет заключительного высокого и величественного лирического эффекта, острого шпиля, увенчивающего мощное только что выстроенное с его участием здание.

Вот этот эффект, лирический шпиль, вонзающийся в восприятие:

„Мы часто повторяем, что нам нужно учиться торговать. Если бы прочитали наши газеты люди с Марса или Луны то, пожалуй, подумали бы, что здесь живет какая-то раса мелких торгашей. Но нет, мы учимся торговать, но революционной души своей не проторгуем. Мы остаемся такими же, какими были в ночь с 24 на 25 октября 1917 года...“

Эти обширные трехчасовые речи, эти величественные политические панорамы, эти здания синтезирующей мысли,—являются безусловно специфической, оригинальной чертой красноречия Октябрьской революции. И понятно почему: лишь октябрьская революция имела своим фоном, своим резонатором весь мир. Троцкий—признанный выявитель этой именно черты красноречия революции, зачинатель и глава этой школы ораторского искусства, первый и лучший преподаватель политалгебры с трибуны.

Но конечно, и Троцкий в этом смысле не возник из пустого пространства. Он имел предшественников в истории красноречия мирового революционного движения, предшественников-учителей. Ими не были ни Жорес, ни Бебель, великие ораторы, политическое красноречие которых, однако, сдавленное, стесненное рамками неблагоприятствующей мещанской эпохи, превращалось в красноречие политического дня, даже политического момента. Жорес и Бебель были в дне, но не в эпохе, ибо в их эпохе не было достаточно воздуха, чтоб способствовать свободному взлету их ораторских крыльев.

Был другой оратор—эпохой раньше, живший в более благоприятный момент для творческого красноречия, оратор, оперировавший эпохой, а не днем. Этим предшественником, и в значительной степени учителем Троцкого был могучий Лассаль.

Троцкий войдет в историю революции, а заодно в историю революционного красноречия, как реализованный до конца Лассаль, как Лассаль, реализировавший до предела все возможности, которые вложила в него природа, выполнивший все обещания своего таланта. Громадное преимущество роли Троцкого против роли Лассаля в истории мировой революции—

не Троцкого заслуга, а Троцкого историческое счастье. Троцкий—исключительно счастливая комбинация талантливой натуры и гениальной эпохи. Лассаль и его судьба—трагический пример неравной борьбы натуры с эпохой. Свои ошибки сегодня Троцкий имел и имеет возможность исправить завтра. Лишенный исторического завтра, Лассаль был прикован к своим ошибкам в текущем дне.

И за всем тем—Лассаль во многом учитель Троцкого. Учитель раньше всего в этом искусстве красноречия мысли, для которого красноречие слов—лишь наряд не всегда необходимый.

Плоды и результаты уроков, какие Троцкий брал у Лассаля, показал бы сравнительный анализ речей этих двух больших мастеров, причем в случае Лассаля материалом для анализа послужили бы такие трактаты политалгебры с трибуны, как „Программа работников“, „Сущность конституции“.

Можно было бы проделать и более любопытный опыт: опыт сравнения речи Лассаля „Против свободы печати“, сравнительно малоизвестной в России, которая поражает своими пророческими местами, как например: „Ненависть и презрение, смерть и гибель современной печати“, или: „Наступит час, и мы метнем эту молнию и погрузим в вечный мрак эту печать“, и речь Троцкого против свободы буржуазной печати в заседании ЦИК второго созыва, 4-го ноября 1917 года, когда „молния“, о которой пророчески говорил Лассаль, была, наконец, брошена.

Но эта задача специального исследования. Более общий интерес представляет параллель между двумя ораторами в такой момент произнесения их речей, когда они находились в приблизительно равных условиях. Таковой момент имел место. Без особых натяжек речь Троцкого перед судом в октябре 1906 года можно сблизить со знаменитой речью Лассаля перед уголовным судом в Берлине.

Оба оратора в момент произнесения этих речей находятся на самом деле в аналогичном положении. Оба они обвиняются в покушении на существующий строй, и система защиты обоих заключаются в том, что вменяемые им преступления они пытаются представить закономерными актами в рамках существующего строя и, стоя, в силу обстоятельств, на почве буржуазного законодательства, они пытаются доказать, что

обвинение не выдерживает критики с точки зрения этого самого закодательства. Находясь в плену у врага, они могут пользоваться лишь тем оружием, которое предоставляет им враг.

Аналогична далее и психилогическая обстановка этих речей. Они говорят под постоянной угрозой лишения их слова (речь Лассаля все время была прерываема прокурором), они обязаны поэтому держаться в рамках максимальной сдержанности. Адресуя свою речь судьям, они в то же время направляют ее широкой аудитории вне стен суда; строя свою речь так, чтоб она соответствовала рамкам судопроизводства, они желают сделать ее в то же время социально-историческим документом; защитительную по внешности речь они желают превратить в революционный призыв.

Таковы трудности задания. С чисто технической стороны это, конечно, наибольшие трудности, с каковыми когда-либо приходилось иметь дело обоим ораторам. И оба справляются с этими трудностями поистине великолепно. Обе эти речи наилучшие, совершенно изумительные образцы юриспруденции на службе у революции.

Ибо оба они выступают под маской юристов.

Известна разница между красноречием политическим и судебно-юридическим. Первое свободно в рамках существующей жизненной реальности, второе сковано узами условной юридической реальности. От этих уз обоим нужно освободиться, сохраняя их для видимости в руках.

Метод чистой, беспримесной диалектики пришел им обоим на помощь. В ораторской деятельности обоих эти речи—высшая точка их диалектического искусства. В их распоряжении было лишь одно оружие—чистой мысли, и обе речи являются совершенной эманацией чистой мысли. Лишь при помощи головоломных мыслительных упражнений удавалось им обоим, оставаясь якобы на почве юриспруденции—делать взлеты в области политики, истории, социологии, и, конечно, лишь при помощи беспримерной диалектической ловкости им удалось доказать, что они невиновны во вменяемом им деянии, невиновны не потому, что они его не совершили, а потому, что это самое деяние не является противозаконным. И они, и судьи прекрасно понимали, что данные деяния являются максимально противозаконными, но в том-то и состоит условность юридической реальности при буржуазном строе, что

она говорит: тем хуже для фактов, если оперирующая условными понятиями диалектика может представить эти факты несуществующими. С нашей нынешней точки зрения, эти речи являются, поэтому, диалектико-юридическим фокусом, но в условиях политического момента, когда были произнесены эти речи, и та и другая, в расшифрованном виде представали, как политические акты громадного революционного значения.

Ораторская фигура Троцкого вырисовывается перед нами.

Суровый стратег революционного красноречия. Грозный боец-полемист. Оратор мощного политического пафоса. Утонченный диалектик.

Все эти определения различных сторон ораторского искусства Троцкого, сами по себе верные, не дают еще тем не менее портрета. Вернее, дают лишь механический его портрет. И какой-то штрих нужен, чтоб портрет ожил.

Нам кажется, этот штрих, то-есть та черта, которая делает Троцкого—Троцким, будет такова.

Троцкий обладает не встречавшимся еще (по крайней мере, в такой степени) в истории политического красноречия качеством: математически точной связью, полной адэкватностью между словом и мыслью. Троцкий мыслит в словах, и в точных словах. Несмотря на многочисленные художественные пассажи в его речах—Троцкий не художник, ибо образы в его речах не самостоятельного происхождения, а служат лишь амплификацией слова: это словесные образы. (Тут, между прочим, намечается разница между красноречием Троцкого и жирондистским красноречием, представителем которого является Луначарский). Ораторская мысль Троцкого не ищет слова, как это типично, между прочим, для Ленина,—мысль и слово возникают одновременно. Отсюда и проистекает это характерное свойство речи Троцкого, раньше всего поражающее ухо: ее „публицистический стиль". Мы знаем, что у оратора типа Зиновьева, Луначарского речь—как бы она ни была подготовлена заранее—„делается" в процессе ее произнесения; речи Троцкого производят впечатление целиком сделанных заранее. Впечатление это рождается потому, что его речи „слишком хороши", что в них нет того, что характерно для каждого оратора, и самого первоклассного—

видимой борьбы мысли со словесным материалом, и трудной ее победы; эта борьба выражается и в том, что оратор ищет слова, выбирает слово, отбрасывает слово, заменяет одно слово другим. Например, Зиновьев нагромождает десятки эпитетов или определяющих глаголов, прежде чем находит единственный и нужный.

Не то Троцкий. У него сразу единственный и нужный эпитет. Он не ищет, не выбирает, не отбрасывает, не заменяет слово. Его мысль сразу с налета попадает с неуклонным и неизбывным счастьем именно в ту единственную клеточку слова, которое вернее всякого другого эту мысль представляет. Конечно, он не больше, чем всякий другой оратор готовит свою речь заранее. Просто процесс попадания мысли в необходимую клеточку слова протекает у него неизмеримо быстрее, чем у всякого другого, и совершенно незаметен поэтому для аудитории.

Именно этим типическим свойством определяется тяга Троцкого к формулировкам. Ведь формулировка—это максимально выявленная гармония между мыслью и словом, максимально победный результат борьбы мыслительного процесса со словесным материалом. Формулировки — вершины ораторского искусства Троцкого.

Но вот тут мы касаемся ахиллесовой пяты Троцкого, как оратора, как политика, как мыслителя. Взнузданное Троцким слово мстит всаднику, воздействуя, в свою очередь, на его мыслительный процесс, определяя мысль. Тяга к формулировкам, мысль, воспитанная в обстановке наиболее точного словесного оформления—все это иногда сводит Троцкого с широкого пути независимого от словесного оформления мышления на указанные дорожки внешней, формальной, словесной, механической логики. Троцкий — оратор, т. е. в последнем счете организатор слова во всем: в свем писательстве, в политике, в мышлении. Именно поэтому Троцкий не прокладывает путей ни в одной из этих областей, в нем нет той стихийной, не поддающейся осмысливанию силы, которая не может реализоваться в пределах верстовых столбов проторенных путей, будь то пути мышления или дела. Ленин не знал воздействия слова на мысль, он чурался искусства формулировок, как такового, его стихийная сила ломала формальную логику—он был гениален даже в своих ошибках.

Троцкий—такой близкий кандидат в гении—остается лишь кандидатом. И если его ахиллесова пята—замена творческого момента организаторским началом не чувствуется в его достижениях, то она с тем большей силой проявляется и мстит за себя в его ошибках. Так, например, Троцкий остался оратором-организатором слов, когда он попытался однажды быть творцом новых путей. Его мысль о трудовой армии оказалась не идеей, а только формулировкой.

Но большой талант не обязан быть гением. Пути большого таланта все же не пути гения. И величайшая заслуга большого таланта перед человечеством может быть в том, что, зная свой путь, он не избирает себе пути гения, не „гениальничает“. В этом между прочим—в самопознании и самоорганизации—одно из основных свойств духовной культуры „европеизма“. Вот этим талантом самопознания и самоорганизации Троцкий—европеец русской революции—наделен в максимальной степени. И вооруженный этим талантом Троцкий с тем большим успехом мог выполнить свое большое дело: вооружение русской революции винтовкой и словом.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДНИ ОКТЯБРЯ

(ЗАПИСИ ЖУРНАЛИСТА)

Глава I.

Завоевание Смольного.

Время действия—ночь с 23 на 24 сентября 1917 года. Место действия — Александровский зал Городской Думы. Здесь, в этом зале произошел эпилог Демократического Совещания, перенесенного сюда из Александринского театра. Томительный, нудный эпилог—подстать всему Совещанию. Я, как журналист на своем посту, понимал, конечно, что в эту ночь, подобно большому количеству уже прошедших передо мной за семь месяцев революции ночей—„творится история", но это было какое-то казенное понимание, так сказать, „по долгу ремесла". Да, мы знали, что в эту ночь Демократическое Совещание санкционирует вновь создавшуюся государственную власть, в эту ночь будет ликвидирован, наконец, затянувшийся правительственный кризис, эта ночь „откроет новую главу",—думал я языком ремесла,—все это так. И все же, напоенная тусклой усталостью атмосфера зала, безразличные или кажущиеся таковыми в этой атмосфере лица членов собрания, монотонные речи—речи именно нудного эпилога,—все это создавало настроение прострации, отнюдь не сочетавшееся с „важностью момента".

Только что вернувшийся из Мариинского Дворца Церетелли сделал свой уныло-оптимистический доклад об образовании власти. Он был неудовлетворен способом и характером разрешения правительственного кризиса и не скрывал этого. Сошел с трибуны, прошел мимо Брешко-Брешковской. Старуха в белом платочке остановила его. Он приложился к руке, она поцеловала его в голову. Часть залы аплодирует, большевики смеются. И невольно думаешь—а, ведь, среди большевиков нет ни тусклой усталости, ни прострации... И появившийся на трибуне Лев Троцкий сразу укрепляет эту

случайную мысль. Он читает резолюцию большевистской фракции. Читает, как всегда—преувеличенно ясно и отчетливо, сопровождая каждый абзац своим любимым характерным жестом—сухим, резким, оторванным взмахом левой руки, словно настойчиво и упорно вгоняет он в неподдающуюся мягкую, рыхлую стену твердый, железный гвоздь. Последний удар по гвоздю: „фракция большевиков... будет вести неустанную борьбу за создание Советской власти".

Но аудитория равнодушно внимает ударам молотка: слишком уж привыкли к большевистским угрозам, и эта казенная фраза казенной резолюции звучит, право, совсем не страшно. Однако, Троцкий на этот раз не только пугал. Ведь, не прошло еще двух суток с момента оглашения этой резолюции, как тот же Троцкий среди гула аплодисментов, оглашавших актовый зал Смольного, поднимался на трибуну своей быстрой, уверенной походкой, еще не прошло двух суток, с момента оглашения этой резолюции, а он уже был избран председателем Петербургского совета.

25 сентября произошло его избрание. И с этого дня началось завоевание Смольного. Красноречие Троцкого, целиком построенное на двух переживаниях — неутолимой ненависти и яростной насмешки, звучащее только двумя нотами злобной насмешки и бешеной ненависти — достигло в этом месте своей высшей точки.

И вот, вместе с волнами его голоса, распространялась изо дня в день по Смольному стихия побеждающей революции. Упорно и настойчиво завоевывала все комнаты и этажи громадного здания.

Впрочем, ей, этой стихии, не пришлось преодолевать особо трудных препятствий. Дело в том, что именно в этот период времени—от Демократического Совещания и до открытия предпарламента—Смольный умирал. Не от какой-либо острой болезни, а просто от старческого одряхления. Со дня на день отцветала, увядала обычная жизнь Смольного. Мы, журналисты, в течение нескольких месяцев с утра до ночи наблюдавшие жизнь Смольного, слишком ясно чувствовали, что что-то произошло с сердцем и мозгом революционной демократии. Охотники до дешевых символов охотно вспоминали потом, что именно в это время Смольный превратился в громадный книжный шкаф. И на самом деле, все коридоры

института уставлены столами и столиками, с которых продавались книги. Правда, то были по большей части книги о революции—но как мало дела до истории революции всех времен и народов было тем, кто находился в это время под властью живого духа революции. И, конечно, эти посетители Смольного равнодушно проходили мимо читальни, открывшейся—характерный факт — во втором этаже Смольного чуть ли не в тот же день, когда образовался заседавший в укромной комнатке третьего этажа военно-революционный комитет. Догоравшая жизнь старого Смольного теплилась лишь в кабинете Чхеидзе. Но незадолго до открытия предпарламента—7 октября—Чхеидзе и Церетели уехали, на двери кабинета повис замок, а после 7-го и остальные лидеры соглашательской части демократии, словно выметенные революционной стихией, распространявшейся из актового зала, очистили Смольный и сделали своей базой Мариинский Дворец.

А Смольный—он уже был к этому моменту под властью Петроградского Совета. Как гости — нежданные и непрошенные—появлялись в Смольном меньшевики и правые с.-р., и отчужденность их от жизни нового Смольного наростала с каждым днем. В этой отчужденности не было, однако, пренебрежения, безразличия, равнодушия: меньшевики и правые с.-р., с прорывавшейся весьма часто на заседаниях Петроградского Совета тревогой, наблюдали за бурно и таинственно для них развертывавшейся жизнью Смольного. И, наоборот, с презрением, поистине великолепным, реагировал Смольный на все то, что делалось в Мариинском.

Речь идет тут, конечно, о низах Смольного, о рядовых членах Петроградского Совета, о всех тех безгласных и безликих борцах революции, втянутых в орбиту Смольного, которые в эти дни наполняли длинные коридоры института. Речь идет тут об этих бесчисленных делегатах с фронта и тыла, которые появлялись на каждом очередном заседании рабочей секции совета, солдатской секции, на пленарном заседании и которые Смольному несли свой гнев, свою усталость, свои жалобы, которые от Смольного ждали ответа, магического слова, заветного ключа к двери, за которой были спрятаны—так казалось им—хлеб и мир. Из разговоров с ними видно было, что эти люди—истые представители

безыменной Руси — ничего и не слыхали о Мариинском, о предпарламенте, что все те, кто их сюда послал, знали и интересовались в Петрограде только одним Смольным.

А поэтому я не удивился, когда, незадолго до открытия предпарламента, пронесся по Смольному слух, что большевики решили бойкотировать предпарламент. Казалось таким естественным, понятным, что Смольный должен повернуться спиной к Мариинскому. Зритель, наблюдатель со стороны, непредубежденный и об'ективный, каковым я являлся, видит лишь стройную, прямую линию событий, от его взора ускользает, что в действительности эта линия идет спиралью, образовываемой столкновением склонностей, темперамента и страстей тех лиц, кто определяет направление и движение этой линии. Так и в данном случае. Казалось совершенно бесспорным, что большевики решат бойкотировать предпарламент, если они не захотят оказаться в противоречии не только со своей логикой, но и со своей психологией. И, однако, большевистским верхам это совсем не казалось таким бесспорным. Вопрос об уходе их из предпарламента был решен сначала отрицательно, и до самых последних дней, чуть ли не до 7-го октября, это решение оставалось в силе. Обратное решение—об уходе—было принято, очевидно, лишь накануне, ибо еще 6-го числа такой осведомленный в настроении верхов член партии, каким был тогда Л. М. Карахан, в разговоре со мной вполне искренно уверял, что такого решения нет, и даже предлагал свои услуги для ведения отчетов о заседаниях предпарламента в „Новой Жизни“, что ему, как члену предпарламента от фракции большевиков было бы весьма удобно *).

7-го утром в кулуарах Мариинского дворца и особенно среди меньшевиков и правых с. р. царила полная уверенность в том, что большевики сегодня на заседании что-то выкинут. Но эта уверенность основывалась лишь на требовании логики положения, и никто не знал ничего на этот счет определенного. Характерный штрих: в три часа дня, т. е. за 4 часа большевистского исхода, во время перерыва первого заседания, озабоченный и вз'ерошенный подскочил к нам, группе журналистов, Скобелев и весьма тревожно задал вопрос

*) Опубликованные ныне материалы подтверждают это предположение (М. Л. Октябрь 1924 г.).

о намерениях большевиков. Мы успокоили в конец растерявшегося лидера, сообщив ему, что если большевики и покинут зал, то, во всяком случае, без бросания бомб и револьверной стрельбы.

И через 4 часа начался исход. Картина исхода не была особо импозантной или угрожающей. Своим обычным быстрым шагом шел впереди своей паствы Троцкий, семенила и как бы пыталась даже походкой своей выразить обуревавшее ее негодование Коллонтай, бросал на ходу неразборчивые угрозы кудлатый матрос Алексеевский, занимавший после переворота пост первого председателя тогда еще „военно-следственной" комиссии, грузно ступал массивный Стучка. Влед уходящим сыпались насмешки цензовиков, левые угрюмо молчали, журналисты в своей ложе почти единодушно заключили, что большевики совершили сегодня мало-эффектное политическое самоубийство. Я с ними не спорил—ведь то были журналисты Мариинского дворца, и они весьма презрительно относились ко всем лицам и деяниям от Смольного. Но можно ли винить в этом журналистов—ведь из кулуарных разговоров потом выяснилось, что почти весь зал не хотел брать большевиков в серьез.

Старались отнестись несерьезно к уходу большевиков, быть может, в целях собственного успокоения, и такой проницательный академик политической борьбы, как Ю. О. Мартов, и такой авторитет в вопросах политической стряпни и политических подножек, как Ф. И. Дан.

Это было 9 октября—на заседании Петроградского совета, при обсуждении вопроса об уходе большевиков. Дан оседлал коня злой иронии и понесся вскачь с тайной мыслью обогнать Троцкого.

— Я понял бы исход большевиков, если бы завтра же они приступили к захвату власти,—заявил Дан...

— Если бы большевики были бы последовательны, то вместо того, чтоб уходить из предпарламента, они должны были разогнать его,—присоединился к Дану Мартов.

Лишь теперь можно представить себе, каким злым смехом смеялся Троцкий, слыша эти вызовы.

А аудитория Петроградского совета весьма холодно отнеслась к иронии Мартова и Дана, но в то же время весьма недвусмысленно ответила на брошенный вызов. В этом убедился выступавший в том же собрании Либер—сравнительно

редкий гость на заседаниях Петроградского совета в этот период времени. В этой своей речи Либер сконцентрировал весь свой пафос—пафос исторического маклера от политики. Почти всхлипывая и захлебываясь, бросил он аудитории в пароксизме исторического сарказма: предположим на минуту, что власть принадлежит Ленину, Троцкому, Каменеву...

Но какой бешеный, тоже истерический взрыв аплодисментов—для Либера совершенно неожиданных—встретил эту его фразу. Все нарастая и усиливаясь, длились аплодисменты больше минуты. Либер был сбит с тона. Но с упорством отчаяния рисовал он в своей дальнейшей речи все ужасы в случае осуществления его предположения, встреченного с таким энтузиазмом аудиторией. А аудитория никак не хотела пугаться либеровских ужасов, она добродушно смеялась в ответ на мрачные его предсказания.

Это было 9 октября, а на другой день, 10 октября, на заседании ЦК большевиков, происходившем на квартире Н. Н. Суханова, — было решено приступить к организации вооруженного восстания.

Поскольку мы привыкли отмечать при крупных политических событиях все капли, которые переполняют чашу, — постольку мы должны отметить и ту роль, которую, возможно, сыграли в этом решении аплодисменты Петроградского Совета в заседании 9 октября.

День 19 октября был поворотным пунктом. Смольный перестал конспирировать. Большевистские лидеры, более других словоохотливые, как Володарский, Карахан и др., не отмалчивались и на шутливые вопросы журналистов—когда назначено восстание,—так же шутливо отвечали—своевременно увидите.

Верили ли мы, журналисты, что „своевременно увидим"?

Безусловно, логика вещей обязала нас верить. Не в Володарском и Карахане, не в их полунамеках тут было дело. Ведь, и они, не более, как неслись по течению, были более движимы, нежели двигались.

Движимы кем? Да именно логикой вещей, силой имманентно развивающихся событий. Непредвзятому, об'ективному наблюдателю со стороны бросался прежде всего в глаза своеобразный и характерный монизм, так сказать, „одноцентрие" совершенно разнородных как будто событий последних

месяцев и недель перед переворотом. Сдача Риги имеет своим эффектом—усиление большевиков, корниловская авантюра—идет на пользу большевикам, моральный, если не фактический крах идеи коалиции на Демократическом Совещании—льет воду на большевистскую мельницу, солдатская тоска по „похабному“ миру—удесятеряет энергию большевиков, рабоче-крестьянское томление по „граду Китежу“ — увеличивает стократно-неприкосновенный капитал большевизма... Но логике вещей всего этого еще мало: она требует, чтобы в самые последние недели количество разменной монеты большевизма увеличилось двумя знаками, весьма ходовыми, приобретающими мгновенно самую широкую популярность. Логика вещей пожелала, чтобы большевикам была дана возможность провести две кампании, по руслу которых так легко и свободно понесся поток революционной стихии.

Речь идет о кампании за созыв второго с‘езда и против вывода петроградского гарнизона. Трудно было найти лозунги более пригодные для накопления энергии масс и поддержания ее на точке кипения, нежели лозунги этих кампаний, ибо они были до нельзя конкретны, метили в ближайшую, всем понятную цель, и—это относится ко второму из них—он удачно совмещал в себе примитивный интерес с эффектным революционным принципом. Всем солдатам было ясно, что вывод частей петроградского гарнизона — это покушение в той же мере на его личное благополучие, как и на его революционную честь, и отнюдь нельзя не дооценивать этот второй мотив, благодаря которому большинство петроградского гарнизона душой и телом отдалось во власть Смольного.

И вот, приняв во внимание, что обе эти кампании были почти навязаны большевикам их противниками — как можно было придти к выводу о могучей логике вещей, повелительно диктовавшей для всматривавшихся со стороны необходимость верить, что мы „своевременно увидим“...

Однако, думал я, наблюдая в эти дни жизнь Смольного,—в этой цепи не хватает как будто одного звена. Нет—казалось мне—аппарата для аккумулирования революционной стихии, и ей угрожает опасность распылиться, рассосаться, подобно тому, как распылилась она в июльские дни. Эта стихия, естественно, стремится как-то овеществиться, у нее

понятная тяга к олицетворению в каком-то органе, органе новом, ею рожденном. И этого органа я не видал до 13 октября.

13 октября, когда услышал на заседании С'езда Советов Северной области сообщение большевика Лашевича—краткое и деловое, об образовании военно-революционного комитета, „в руках которого в ближайшее время будет сосредоточена возможиость распоряжаться солдатской силой" (дословная цитата из сообщения Лашевича) — я этот орган увидел и уверовал.

Сообщение было встречено на собрании с большим интересом. Весть о военно-революционном комитете тут же распространялась по всему Смольному. Наполнявшие Смольный революционные массы и даже рядовые члены большевистской фракции не представляли себе точно, в чем выразится деятельность нового органа со столь многоговорящим и в то же время неопределенным названием.

Не более знали о нем и лидеры руководящих фракций Ц. И. К. Они знали лишь, что вопрос о военно-революционном комитете „крайне важен", как выразился лидер меньшевистской фракции солдатской секции совета на заседании 13 октября. И в виду этой „крайней важности" лидер меньшевиков требовал, чтобы солдатския секция не принимала проекта организации этого комитета без предварительного подробного обсуждения. Но точно также, в виду крайней важности этого вопроса, большевистская фракция считала необходимым санкционировать созданне этого органа без всяких прений, ограничившись лишь кратким сообщением докладчика по этому вопросу. А докладчик сообщил, что организуется военно-революционный комитет по инициативе Исполкома Петроградского Совета, и что он призван контролировать оперативные распоряжения петроградского штаба, дабы обезопаситься от возможных контр-революционных поползновений. Заседание выслушало доклад и утвердило его без прений—ведь вопрос был „крайне важен".

Положение руководящих фракций Ц. И. К. становится трагикомическим. Весь Смольный сверху донизу что-то знает, о чем-то непрестанно и настойчиво гудит. Меньшевики и правые с.-р. слышат это гудение—но они связаны по рукам и ногам: можно ли призывать большевистскую фракцию к ответу на основании кулуарного жужжания. В буфете Смольного ведутся

академические разговоры на тему о том, что будет на другой день после восстания, но, ведь, собирать кулуарные слухи и буфетные разговоры—это дело репортеров, а не лидеров серьезных политических партий. И, наконец, большевики даже не считают нужным конспирировать с ними—они для большевиков просто не в счет. Большевики ничего не имеют против того, чтобы Гоц, Либер и Дан знали о предстоящем восстании, они бравируют своей откровенностью.

Что же остается делать Гоцу, Либеру и Дану? На основании кулуарных слухов и буфетных разговоров обратиться к Керенскому с просьбой из'ять большевиков из употребления? Ведь, это немыслимо. Остается одно — писать воззвания. И Бюро Ц. И. К. за эти дни выпускает десятки воззваний и резолюций „против готовящихся выступлений“. „безответственных элементов“.

„Назови собаку дурным именем и убей ее“—гласит мудрый английский совет. Большевики в дальнейшем выполнили обе части совета, меньшевики же и правые с. р. с большим энтузиазмом и рвением выполняли лишь первую часть, называли собаку дурным именем и ожидали, что она покончит от обиды самоубийством.

И вот Бюро Ц. И. К. делает последнюю отчаянную попытку уговорить большевиков перестать быть большевиками. На пленарном заседании Ц. И. К. 14 октября Дан ставит большевикам вопрос напрямик: намерены ли они выступить, для чего создан военно-революционный комитет...

Искренность—это иногда тоже политика, и быть может не худшая, полагал, очевидно, Ф. И. Дан в момент произнесения этой своей последней в Смольном речи. И речь его звучит искренностью отчаяния, неподдельной тревогой, несвойственной ему обычно горячностью. Он почти умоляет большевиков, членов Ц. И. К., голосовать за предлагаемую им, Даном, резолюцию.

Резолюция эта, говорит он, нарочно составлена в выражениях настолько общих, что за нее могут голосовать все фракции. И на самом деле, в резолюции туманно упоминается о „выступлениях“, призывается к спокойствию. В ней нет осуждения большевиков, не упоминается даже это слово. Большевики Ц. И. К. как будто смущены.

Единственный из их лидеров присутствующий на собрании Рязанов выставляет ряд формальных отводов против голосования резолюции: вопрос поставлен слишком неожиданно, резолюция выходит за пределы порядка дня сегодняшнего собрания и т. д., и требует перерыва для фракционного заседания. Собрание, в котором большевики составляют едва одну пятую, соглашается на перерыв. Большевики гурьбой бегут в свою фракционную комнату. Около получаса длится томительный перерыв. Оставшиеся в зале мрачны — мало надежд, чтобы большевики растрогались искренностью Дана. Но в то же время очень интересно, какую стратагему придумают большевики, как ответят на прямиком поставленный вопрос Дана.

Заседание возобновляется. Большевики, входящие в зал, что-то очень веселы и развязны, перекликаются, пересмеиваются.

Весьма весел появляющийся на трибуне Рязанов, произносящий на этот раз речь поистине примечательную. Более часа длится эта речь. Но всего 10—15 минут проходит после первых слов Рязанова, и собранию уже становится ясным, в чем тут дело. „Это обструкция, издевательство", раздаются возмущенные голоса. И на самом деле—недалеко от того. Рязанов говорит в своем, еще более яростно-юмористическом стиле, чем обычно,—обо всем, о чем хотите, только не о том, чего ждут от него. Он произносит случайно какое-либо слово, цепляется за него, и дальнейшее течение речи сворачивает по пути, совершенно неожиданному, все больше и больше удаляющемуся от темы. В аудитории нарастает возмущение. Все чаще выкрики с мест. Но этого Рязанову только и надо. Он немедленно и с большой охотой отвечает на каждый возмущенный возглас и вступает с лицом, этот возглас сделавшим, в длительную юмористическую полемику. Очевидно, он хочет, чтобы ему не дали возможности договорить. Председательствующий Гоц заклинает собрание не нарушать спокойствие, предоставив оратору говорить, как он хочет и о чем он хочет. Собрание эту тактику послушно усваивает. И, наконец, Рязанов истощает свои недюжинные голосовые средства и должен так или иначе окончить речь. И тут лидер большевиков наносит эффектный удар:—Как, кричит он изо всех сил, круто повертываясь всем корпусом направо к столу

журналистов—вы требуете, чтобы в присутствии представителей буржуазной прессы мы точно ответили вам, готовим ли мы восстание и на какое число!

Хохот большевиков покрывает слова Рязанова, улыбается и он сам. Но остальная аудитория мрачно молчит. Политика искренности оказалась безуспешной, вопрос сорван. Но так как в резолюции, оглашенной Рязановым, имеется пункт, что если восстание произойдет, то большевики будут находиться в первых рядах восставших,—фракционные лидеры решили принять этот неуклюжий намек за ответ на вопрос Дана. И с мрачной резиньяцией констатирует выступающий от фракции меньшевиков Б. О. Богданов: „Я считаю вполне определенным, что большевики готовят вооруженное восстание". Он сказал эту фразу подобно тому, как сказал бы с такой же резиньяцией ученый астроном:—Я считаю вполне определенным, что произойдет столкновение земли с кометой, и что мы погибнем.

Но разве можно выносить резолюцию протеста против кометы?

Оказывается — можно. И Ц. И. К., не боясь оказаться в смешном положении, громадным большинством принимает резолюцию Дана. За резолюцию Рязанова незначительное меньшинство. И, однако, как смущены „победители" и с каким победоносным видом уходят с заседания „побежденные".—Да, мы готовим восстание—словно говорят они, попробуйте-ка остановить его. Положение, таким образом, приблизительно выяснилось. Меньшевикам и с.-р. осталось лишь терпеливо ждать. И характерно, что в этом же заседании уже раздавались из уст убежденных противников восстания те слова (конечно, не с трибуны), которые в дальнейшие дни до 25 октября повторялись ими все чаще, все тоскливее: „Хоть бы уж скорее это случилось".

Случилось это скоро — через 10 дней. И эти дни были пьяными днями.

Длинные коридоры, особенно третьего этажа, где поместили военно-революционный комитет, были наполнены сгустившимся лихорадочным оживлением, сконцентрированной, но готовой в каждый нужный момент бурно разлиться стихией.

Со стороны кажется, будто активные работники Смольного в эти дни задались целью сотню раз в день пробежать по всем коридорам, побывать во всех закоулках. Их немного, этих активных работников, но действенность их жестов, энергичная сгущенность бросаемых налету журналистам фраз создает впечатление, будто ежедневно, ежечасно в Смольный вливаются все новые и новые потоки людей и сил.

Но вливались ли за это время силы извне? Пожалуй, нет. Более того, за эти дни Смольный как-то очищался от хористов и статистов революции. Чужих людей в это время в Смольном было очень мало, и, конечно, в наибольшей степени чужими чувствовали себя там не случайно пришедшие люди с улицы, а небольшая группка меньшевиков и правых эсэров из Петроградского совета. Пытаясь зло иронизировать, но тут же впадая в истерическую злобу, слонялись они без толку и без дела по длинным коридорам. Их лидеров видно не было. Гоц, Дан, Богданов и др., как ушли из Смольного после заседания 14 октября, так, повидимому, и не возвращались туда до дня переворота. Они сидели в Мариинском дворце.

В разговорах с журналистами большевики в эти дни почти не конспирируют. Они не дают себе труда отвечать отрицательно на вопросы о восстании, улыбаются, советуют потерпеть.

Но, впрочем, могли ли они, рядовые большевики, сказать что-либо определенное насчет плана восстания? Были они за эту неделю посвящены—с 17 по 24 октября—в тактику и планы военно-революционного комитета? Конечно, нет, и по той простой причине, что конкретных планов восстания у военно-революционного комитета не существовало *) существовали лишь те или другие предположения, учет разнообразных возможностей, да твердая уверенность, что в нужный момент конкретный план явится сам собой, как оно в действительности и случилось.

А кроме того, у военно-революционного комитета и у большевистских лидеров было одно великолепное тактическое средство, которое они блестяще применяли, быть может, и бессознательно для себя. Благодаря усиленным толкам

---

*) Увы, грубые ошибки, допустимые в увлечении „психологизмом" (М. Л. Октябрь 1924 г.).

о восстании, благодаря произведенной за эти дни психологической мобилизации, у каждого рядового члена Петроградского Совета создавалось впечатление, что, если он и не посвящен, то посвящен другой.

Конечно, для нас, журналистов, этого было мало. Чувство профессиональной гордости повелительно требовало узнать что-либо определенное, хоть один, пусть незначительный, но к сфере восстания относящийся факт. Увы—это было невозможно. Военно-революционный комитет ревниво охранял свои тайны, каковых,—я в этом убежден и по сей день,—у него не было, по крайней, мере, в смысле выработки и твердой установки конкретного плана восстания. Думаю, что будущий историк военно-революционного комитета покажет, что это мое предположение, основанное исключительно на психологическом материале, соответствует действительности.

Итак, журналисты изнемогали в поисках реального, фактического материала о восстании. Знали лишь одно—оно будет (в этом уже никто почти не сомневался), и его проведет военно-революционный комитет. Но, ведь, этого бесконечно мало. И вот, в погоне за каким-нибудь фактиком, журналисты пошли по линии наименьшего сопротивления. Захотели зафиксировать начало восстания в факте подписания Троцким ордера на выдачу рабочей милиции 5000 винтовок с Сестрорецкого завода.

Но о чем свидетельствовал этот факт, кроме как о том, что восстание будет? А это и так было слишком известно. Далее попытались назначить день восстания, приурочив его по естественной ассоциации к „дню петроградского совета“—22-го октября.

На этой версии журналисты — за исключением сотрудника „Новой Жизни“ (я не считал для себя возможным так двигаться по линии наименьшего сопротивлення)—утвердились весьма прочно и по большей части были в этом вполне искренни. И пресса этих дней была полна самыми художественными описаниями „предстоящего кровавого дня“.

Помнится, что газета „День“, весьма далекая от кругов Смольного, поместила даже незадолго до 25 октября тщательно выработанный стратегический план восстания—такая-то часть выступает туда-то и т. д. Смольный зачитывался этим апокрифом и весело хохотал. А Троцкому эта неудачная

сенсация дала возможность заявить на заседании Петроградского совета с гордостью, поистине великолепной, „о лжи и клевете буржуазной прессы“, так как „Петроградский совет дня выступления еще не назначал, а если назначит, то под его знаменем пойдет весь петроградский пролетариат и гарнизон“.

Это заявление наилучшим образом обрисовывало действительное положение, и целиком передает атмосферу, господствовавшую в дни, предшествовавшие этому наименее подготовлявшемуся и наиболее неконспиративному во всей истории заговоров и резолюций—восстанию.

И, когда на другой день после перехода власти, пресса неистово завопила о „кучке лиц“—то это было хотя и справедливо, но в достаточной степени неостроумно: ведь более, чем кучки лиц, фактически не требовалось.

Но вот характерный факт: и эта кучка лиц — будущие фактические деятели восстания — никакими гаданиями о дне и часе не занимались. Тут была какая-то естественная дисциплина, основывающаяся на сознании, что восстание должно быть, и что есть те, кто должен отдать в нужный момент нужные распоряжения,—остается лишь терпеливо ждать этих распоряжений.

Заявлений в этом смысле мне пришлось слышать в эти дни от рядовых членов Петроградского совета очень много. И все они были проникнуты одним чувством: почти фаталистического доверия к естественному течению событий, слепой веры в то, что в нужный момент кем-то будет сказано нужное слово и сделано нужное действие.

В соответствии с этим, Смольный старался не уяснять себе характера предстоящих событий. Вполне удовольствовались официальным прогнозом событий, не раз делавшимся на заседаниях Петроградского совета. Прогноз этот гласил: ни совет, ни кто-либо другой никаких выступлений не назначает, власть возьмет лишь с‘езд советов, мы, Петроградский совет и военно-революционный комитетст—сторона лишь защищающаяся, ожидающая нападения противника, и всякое наше наступление явится лишь самозащитой. Такая постановка вопроса производила очень благоприятное впечатление. Она переводила центр тяжести на деятельность

противника и тем самым не могла дать почвы для сомнений в целесообразности восстания. Лидеры настолько учитывали эту психологическую выгоду, что за несколько часов до начала восстания, вечером 24 октября, Троцкий на заседании Петроградского совета вновь повторил официальный анализ положения и вновь подчеркнул, что до с'езда никаких выступлений не будет, если только не выступит противная сторона. И, несмотря на то, что в тот же день было уже опубликовано от имени военно-революционного комитета, что он берет власть в городе, несмотря на то, что в момент заседания телефонная станция уже была занята отрядом военно-революционного комитета, несмотря даже на то, что тут на заседании присутствовали многие из тех, кто знал теми или иными путями, что сегодня ночью они будут „в деле", и прозрачно намекали на это,—несмотря на все это, собрание все же целиком признало официальный прогноз событий, ему предложенный, настолько этот прогноз соответствовал массовой психологии Смольного.

Этим заседанием „коллективного самообмана" началась ночь Смольного с 24 на 25 октября. А продолжалась она экстренным заседанием Ц.И.К., открывшимся в половине первого.

Снова Дан.

Но он уже не задает более вопросов—теперь все ясно. Остается лишь прокаркать вороном. И Дан эту задачу выполняет—с вдохновением, с увлечением. Но опять, как и в тот раз, его речь подкупает меня—об'ективного наблюдателя—нотами неподдельной искренности, прорывающимися в ней. Эти ноты весьма гармонируют с общим тоном собрания. Оно какое-то „притихшее", вдумчивое, академическое. Аудитория чувствует, что она „в грозе и буре".

И у большевиков наблюдается в этом заседании некое единство настроения с большинством аудитории. Троцкий произносит речь, отнюдь не полемическую, очень спокойную, академическую, умиротворенную. Он говорит о будущем, о практическом положении идеи власти советов. Эта речь является естественным психологическим отзвуком событий—

перед лицом „грозы и бури"—не нужна злоба и страстная полемика предшествовавших дней. И, естественно, хочется перед моментом, когда ринешься, очертя голову, в бой—на минуту задуматься. А, с другой стороны, — есть в этой речи и сильный элемент политического расчета. Троцкий уже считает, очевидно, первую фазу законченной и думает о том, что будет на другой день. Нащупывает почву соглашения с меньшевиками,—заканчивая свою речь протестом против междоусобицы в среде советов, призывом ко всем членам открывающегося завтра с'езда советов действовать едино. Этот тон необычен для Троцкого, тут сказывается, повидимому, психология последней минуты тишины перед неминуемой „грозой и бурей" грядущих дней и ночей, психология „тоски по идиллии", проявившейся тогда у Троцкого в первый и, на моей памяти, в последний раз.

Троцкого слушали внимательно. Выступавший за ним Либер тоже выдержал свою речь в спокойных тонах подведения итогов и почти академического прогноза грядущего. Он начал с того, что ему „трудно полемизировать с тем, кто сейчас стал героем дня, кто теперь особенно популярен. Политический маклер, безусловно одаренный чутьем реальности—он слишком понял, что „безответственный демагог"—ныне превратился в демагога, готового ответить за все последствия.

И дальше собрание продолжается в тех же тонах. Речь правого с.-р. Гендельмана, Мартова, заключительное слово Дана—это более увещевания, нежели протесты, более скорбь, нежели гнев. И совсем не кажется странным, когда в первый же раз за всё время существования Ц.И.К., резолюцию от имени Ц.И.К. оглашает Мартов. Этот факт знаменует не отход Мартова вправо, а смятенный скачок Дана налево, но это слишком поздний скачок. До того поздний, что большевики, не давая себе даже труда голосовать против резолюции—покидают зал заседания. Ведь они пришли в этот зал не для борьбы путем голосований, не в целях агитации—это все уже пройденные этапы—а так, руководимые чувством естественного любопытства—что скажут теперь, перед лицом „грозы и бури", эти люди, которые могут завтра оказаться их врагами, но могут превратиться и в их союзников:

большевики в эту ночь допускали и эту возможность, и, пожалуй, более, чем какую-либо другую.

Вот что происходило в эту ночь в Смольном, в актовом зале.

А за стенами его, в длинных коридорах Смольного в эту ночь сгустилось, конденсировалось все оп'янение предшествовавших дней. Революционная лихорадка бушевала. Но характерный факт—не было веселья в этой лихорадке. Молча, страшно серьезно, тяжелым шагом выходили из Смольного отряды для захвата правительственных учреждений. Молча и быстро пробегали длинные коридоры, направляясь в военно-революционный комитет агенты восстания. Молча, сосредоточенные проходят по коридорам лидеры, направляясь туда же.

Молчание—сосредоточенное, упорное, почти тяжелое, которое бывает при страшно трудной, даже неприятной, но страшно нужной работе—вот основной штрих этой ночи для наблюдателя со стороны.—Что-то слишком деловой характер носит эта революция, думаю я, невольно сравнивая эту ночь с днями и ночами февральской революции.

Так было ночью, но после ночи был день.

Глава II.

Революция пришла.

Да, днем 25, она пришла—во плоти и крови, и в этот и в следующие дни было именно так, как мы мыслим революцию. Революция пришла во плоти и крови, в образе Ленина и Зиновьева, явившихся в Смольный в первый раз (Петроградский совет перешел в Смольный из Таврического после арестов Ленина и Зиновьева).

Но еще раньше того, как они явились—Петроградский совет узнал, что он в эту ночь совершил величайшую в мире революцию. Он как будто был в первую минуту удивлен—Петроградский совет—но весьма быстро вошел в положение. И, конечно, появление Ленина и Зиновьева—появление из ночи—этому весьма содействовало. Психологический эффект

этого сюрприза был весьма велик: неискушенное мышление воочию увидело первую победу революции. Победа ошеломила и потрясла. У Смольного закружилась голова. И, благодаря головокружению, у Петроградского совета, а также у всего Смольного, произошла любопытная психологическая аберрация: было твердо забыто, что лишь накануне Петроградский совет аплодировал Троцкому, заявлявшему, что власть в свои руки возьмет только с'езд, было искренне уверовано, что именно он, Петроградский совет, в здравом уме и твердой памяти, уполномочил военно-революционный комитет на захват власти, что тот и выполнил. И каждый член Петроградского совета под присягой подтвердил бы в этот день, что все происшедшее ночью произошло с его одобрения и ведома.

Таково было настроение—и понижаться ему не давали. С каждой минутой оно наростало, дойдя до апогея своего в заседании совета. Вот на трибуне Ленин. Этот хладнокровнейший в России человек—не изменяет себе и на этот раз, и хладнокровие его великолепно контрастирует с атмосферой заседания. Он, пожалуй, еще больше, чем всегда, говорит в стиле matter of fact, просто и элементарно-деловито, словно учитель с мелом в руках, уверенно, почти небрежно доказывает теорему далеко не первой трудности. А теорема эта гласит—установление Российской и всемирной социалистической республики.

Но какие внимательные ученики на этом уроке, как любовно-настороженно они слушают учителя...

Все больше дров в огонь. И подбрасывают эти дрова выступающие после Ленина—Луначарский и Зиновьев. Хотя—для биографа Луначарского пригодится эта деталь—нужно отметить, что у Луначарского несколько дрожат руки при подбрасывании дров. Он, повидимому, еще не вошел во вкус, он как будто не знает, о чем говорить—центр речи его сводится к констатированию безкровности и организованности переворота.

Но, как бы там ни было, это заседание совета явилось такой громадной охапкой дров, которая дала возможность атмосфере продержаться на точке кипения до самого вечера, когда открылось заседание с'езда советов. Он должен был юридически санкционировать переворот и тем самым в корне уничтожить мысль о самочинности поступков военно-революционного комитета, если таковая у кого-либо была.

А таковая была. На заседании совета это произошло. Один из присутствовавших, солдат с винтовкой в руке, очевидно не искушенный партийными программами и фракционными разногласиями, во время слов Троцкого о том, что переворот уже совершился, недоуменно спросил с места: а как же с‘езд советов? Правое крыло совета, немногочисленное, сгрудившееся вместе, как стадо овец, на минуту осмелело, и посыпались многочисленные, быстрые возгласы.

Троцкий запнулся на секунду. Но тотчас же последовал характерный его жест, особо сильным и резким ударом вбил он гвоздь в стену и отчеканил: воля с‘езда предрешена огромным фактом восстания петроградских рабочих и солдат. Собрание зааплодировало, все сомнения исчезли. Конечно, не у правого крыла, но оно молчало. Оно знало, как держаться: фракционные лидеры еще не дали линии поведения, а ликвидировавшие меньшевистскую и право-с.-р. фракцию совета Бройдо, Иоффе и студент Каплан были в состоянии,— увы,—полнейшей растерянности.

Но лидеры, члены Бюро Ц. И. К. к этому времени уже собрались в Смольном после разгона предпарламента. Они рвали и метали. Уединившись на фракционном заседании, отгородившись запертой дверью от ликовавшего в революционной лихорадке Смольного, изобретали они, повидимому, стратегемы и военные ходы. И хотя не было у Смольного сведений, что происходит за дверью фракционной комнаты— как-то распространился слух, что меньшевики и правые с.-р. решили покинуть с‘езд советов.

Откуда пошел этот слух—выяснить не удалось повидимому, возник он „самостийно“, ибо в этот момент такое решение еще принято не было. А часов в 7 вечера, за два часа до открытия с‘езда, в комнату 48, где помещалась редакция „Известий Ц.И.К.“, еще не захваченных большевиками, в комнату, являвшей из себя „соглашательский“ островок среди бурного революционого моря Смольного, в эту комнату влетел В. О. Богданов. Человек легко возбуждающийся и, вдобавок, любящий возбуждаться, он сегодня был абсолютно вне себя. И вот он сообщил нам, что фракция меньшевиков решила покинуть с‘езд. Я выразил сомнение не то в справедливости слуха, не то в правильности этой тактики. Богданов отмахнулся от меня, и в спутанной, горяченной речи стал

развивать планы штыковой ликвидации большевиков и Смольного. На полуиронический вопрос, что же будет делать он во время этой ликвидации, он клятвенно уверял, что его увидят в первых рядах казаков, идущих на Смольный. Я тут же решил, что воздержусь от предания гласности Богдановской истерики. Было ясно, что эта истерика если и скомпрометирует его перед Лениным, то все же не оправдает, не обелит его перед Милюковым. И если я запомнил этот маловажный в общей сумме впечатлений дня факт, то потому, что именно в момент истерики Богданова мне стало до последней степени ясно одно: пути Смольного и социализма разошлись, термин „революционный социализм“ расщепился, два элемента этого понятия раз‘единились, и если за дверьми Смольного остался социализм, то революция была тут внутри, и ее хотел пронзить штыком Богданов. Я не настаиваю на об‘ективной верности этой точки зрения, я передаю лишь синтез моих впечатлений *) этого дня.

А первое заседание с‘езда советов лишь укрепило меня в этом синтезе.

В одиннадцатом часу открывается в актовом зале это заседание.

Всматриваюсь в лица, слежу, как рассаживаются фракции. У большевиков очевидное большинство. В их местах, голосах, отдельных прорывающихся сквозь шум последнего момента перед открытием заседания фразах, чувствуется решительность, но чувствуется также, что они весьма бравируют этой своей решительностью. Но предстоящее поведение их ближайших соседей для них пока еще тайна. По отдельным возгласам, обращенным из большевистского крыла направо можно судить, что у них, рядовых большевиков, есть еще вера в „революционную идиллию“, по которой тосковал накануне Троцкий.

Правые угрюмо молчат. В актовый зал доносятся глухие звуки канонады с Дворцовой площади. И, указывая на окна, говорит Дан, открывающий с‘езд: „В этот момент наши товарищи, заседающие в Зимнем Дворце, подвергаются обстрелу"...

*) Оставляю этот „вывод“, как прикрытый образчик „интеллигентской“ психики, о которой говорилось в предисловии. (*М. Л.* Октябрь 1924 г.).

Пауза. Канонада все явственнее. Но через минуту она заглушается бурей аплодисментов, приветствующих избрание президиума из большевиков и левых с.-р. За столом президиума появляются Ленин и др. и, словно умышленно стремясь заглушить канонаду, все яростней, все ожесточеннее аплодируют большевики. Дан покидает трибуну. Он отходит в конец зала, к выходу, он почти спокоен. Я следую за ним и слышу, как он спрашивает журналистов—взят ли Зимний Дворец... — „Реальный политик сказался и тут"—думаю я.

Но вот уже принят порядок дня. Суть не в нем, однако, а во внеочередных заявлениях. Их было всего несколько— от меньшевиков, правых с.-р. фронтовой группы и еще кого-то. Однако, кажется, что эти внеочередные заявления тянутся друг за другом бесконечной нитью. Это заявления об уходе со с'езда. И каждое из них встречается все бурнее, все враждебнее левым крылом. Как это ни странно, несмотря на то, что слухи об уходе циркулировали уже несколько часов—это является сюрпризом для левого крыла. И тяжелым ударом, тягостным разочарованием. Большевикам уже не до бравирования решительностью: в их лицах, жестах, возгласах говорит уж самая подлинная, действенная, бурно ищущая выхода ненависть. И это кажется таким понятным: упрощенное, цельное мышление не может оценивать эту тактику правых иначе, как измену изнутри.

А канонада все еще слышна—с открытия заседания прошло уже больше часа. И не без влияния, очевидно, этого почти непрерывного пушечного гула, не столь громкого, сколь настойчивого—руки непроизвольно сжимаются в кулаки, лица краснеют, напрягаются.

Исход „чистых" начался. И опять то же самое впечатление: этот исход длится бесконечно долго, хотя в действительности занял он вряд ли больше 10—15 минут... И криками сгущеной ненависти была напоена атмосфера зала, криками, которые как бы повисли в воздухе, получили как бы самостоятельную жизнь. А уходившие не молчали. Очевидно, и они не ожидали такого взрыва страсти со стороны большевиков, и ответными криками и возгласами пытаются победить в себе смущение.

Ушли. Но не все. Тут еще Мартов, Абрамович, группка новожизненцев.

Отмежевываются от ушедших, и аудитория готова реагировать бурей восторга, но они отмежевываются и от оставшихся—и примитивное, цельное, упрощенное мышление во власти недоумения, естественно переходящего в злобу.

А за столом президиума—плохо скрытая тревога. Эта тревога видна нам, журналистам — наш стол прямо перед трибуной, а некоторые из нас на самой трибуне. Ведь, время идет, обстрел дворца продолжается уже несколько часов, а желанной вести все нет. Продолжать далее заседание мучительно, психологически невозможно. И президиум об'являет перерыв, быть может, не будучи уверенным, что ему придется возобновить собрание. Лидеры исчезают из зала, очевидно к телефонам, в военно-революционный комитет. Минуты томления идут, идут... Их все больше—будет ли им конец?

А зала находится в состоянии реакции против слишком бурных переживаний прошлых часов. Усталость, прострация оседают в зале грузной, тяжелой массой. Разговоров почти нет, канонада раздается теперь лишь изредка.

Желанная весть пришла лишь в четвертом часу. Возобновленное тотчас заседание проходит горячечным темпом. Руки сами аплодируют, крики восторга издают будто сами стены. Среди этих криков совершается еще один уход—меньшевиков интернационалистов—но собрание этого факта почти не замечает. И, затаив дыхание, слушает оно, как Луначарский вибрирующим голосом читает воззвание к крестьянам, солдатам и рабочим.

В шестом часу покидаю я Смольный, проведши там с перерывом в несколько часов почти сутки. Но, как изменилось все вокруг Смольного за это время. У фонтана стоят пулеметы, в середине зенитное орудие. Площадь перед Смольным вся в горящих кострах, у которых приплясывают солдаты, матросы и красногвардейцы. Словно охраняя здание, блестящим полукругом в длину всего Института выстроилась непрерывная цепь моторов. Пестрая лента переливающихся огней моторов, костров и света внутри Смольного как бы отделяет здание от всего прочего мира. Он в тяжелом, глухом мраке—этот прочий мир, и мрак прорезается то и дело, отдельно звучащими, приглушенными осенней сыростью звуками выстрелов.

Что-то будет завтра...

Туманным и холодным полднем 26 октября, я снова подхожу к Смольному. И снова новый вид. Чувствуется сразу—Смольный в тревоге. Огней уж больше нет, но штыков гораздо больше. Весь Смольный ощетинился штыками. Книжный шкаф превратился в арсенал: где стол был книг, там штык стоит—подумалось невольно.

Едва вошел в вестибюль—наткнулся на характерную сцену, которой даже не понял в первый момент. Вместо обычного солдата, формально спрашивающего пропуск и удовлетворяющегося любой бумажкой, чуть ли не трамвайным билетом, как это было раньше, стоит у двери, ведущей из вестибюля внутрь—целый сторожевой пост—4—5 солдат, вооруженных до зубов. Они не довольствуются редакционным билетом, они посылают к барышне, сидящей налево за перегородкой, и выдающей пропуски с печатью военно-революционного комитета. Направляюсь к барышне налево, оказывается, около нее уже целый хвост—все наша братия—журналисты. И оказывается—их, представителей, по большей части, буржуазных газет, не пропускают внутрь. И еще оказывается, внутри здания уже арестовали одного журналиста, проскользнувшего как-то без пропуска. Эге, думаю, начинается новый быт. Среди журналистской братии возмущение, описанию неподдающееся.

— Как это, не пускают журналистов,—и Октябрьская революция сразу и бесповоротно дискредитирована в их глазах.

Мне несколько смешна эта суб‘ективность оценки, но я понимаю психологию моих коллег: ведь, подумать только, чем являлась пресса при Керенском, ведь буквально не было ни одной двери, которая не распахивалась бы широко перед редакционным билетом, ведь, журналисты чуть ли не присутствовали на заседаниях Временного правительства, ведь, члены Временного правительства, особенно Н. В. Некрасов сами усиленно напрашивались на интервью с журналистами. И вдруг их осаживают назад и весьма непочтительно. Есть от чего прийти в раж. С пеной у рта они нападают на барышню, но она хладнокровна и непреклонна: не могу выдать пропусков, повторяет она. Большевистская дисциплина начинает давать себя чувствовать, думаю я, февральская революция этой дисциплины не знала.—Представителя „Новой Жизни“

вы можете впустить?—задаю вопрос.—Да, вам я могу дать пропуск, твердо отвечает барышня. И чувствуется, что в ней говорит уже „административный восторг“.

Кроме меня, был впущен также представитель меньшевистского „Нового Пути“, но на другой день он был изгнан, и даже арестован на несколько часов, и с того времени, в течение приблизительно двух недель, я был единственным представителем не советской прессы в Смольном.

Прошедши все кордоны и заградительные отряды, я быстро бегу по лестнице во второй этаж. Да, в воздухе разлита тревога, Смольный необычен. Начать с того, что аборигены Смольного, хористы и статисты революции—исчезают один за другим. На сцене остаются лишь певцы первых партий. Это стало заметным уже 26 октября, но в следующие дни и до 1 ноября это явление приняло особо большие размеры. В этот же день, 26 октября, когда с‘езд должен был принять декреты о мире, о земле и утвердить новый состав правительства, революция еще не могла выйти из стадии торжественной оперы. Заключительным актом оперы и явилось знаменитое второе и последнее заседание с‘езда, ночью с 26 на 27 октября, когда были приняты вышеуказанные декреты.

В этом заседании, прошедшем точь-в точь по заранее составленной партитуре*), был, однако, один момент, который имел место, очевидно, помимо ведома талантливого дирижера, управляющего оперой, но который оказался для него весьма приятной неожиданностью.

Это было после того, как Ленин огласил декрет о мире, сопроводив его об‘яснительной речью.

Никогда раньше и никогда после я не чувствовал так остро своей оторванности от большевистской аудитории, как в этот момент. К величайшему колоссальному удивлению своему увидел я, что аудиторию он привел в состояние, близкое к экстазу, состояние, подобно которому я не видал ни в одном массовом собрании февральской революции. Как

*) Так ли это? (*М. Л.* Октябрь 1924-г.).

я понял потом, в следующие дни, всмотревшись в психологию октябрьской революции, декрет этот подействовал так просто потому, что это был, во-первых, „декрет“, а во вторых, „о мире“— просто названием своим.

Очевидно, у аудитории под влиянием ряда психологических переживаний, создалось категорическое убеждение, граничащее с верой и охватившее ее на манер массового психоза, что она, аудитория эта, волей судеб явилась повелительницей всего мира, и повелевает ему мир на земле и благоволение в человецех. Своего рода „соборным творчеством“ явилась обрушившаяся на залу, после единогласного принятия декрета—лавина восторга.

В эту лавину восторга острой нотой врезался чей-то голос: да здравствуют наши вожди!

Аудитория бурно взревела, поднялась с мест и вся как-будто двинулась к президиуму. Ленин, Троцкий, Каменев, Луначарский и другие, находившиеся в президиуме, встали навстречу толпе, встревоженные стихийным ее порывом.

Около двух минут это длилось: собрание, стоя на месте, с каждой секундой как будто приближалось к президиуму.

И далее все собрание проходило тем же темпом творческого восторга.

Кое-кто пытался вносить диссонансы: представители авксеньтьевских крестьян попытались протестовать против ареста министров-социалистов. Увы, до чего протесты их повисли в воздухе: собрание не поняло даже, в чем дело, не понимало, как можно сейчас, когда принят декрет о мире, декрет о земле, говорить о таких мелочах, таких пустяках. И вполне выразил настроение собрания другой крестьянин, потребовавший не освобождения арестованных министров, а дальнейших арестов, ареста всего Исполнительного Комитета Крестьянского союза.

И так, попытка внести диссонанс оказалась безрезультатной. Она еще более об‘единила, унифицировала настроение собрания, она спаяла его чувством ненависти, подобно тому, как ранее собрание было спаяно чувством восторга, не только по отношению к вождям своим, но и к самому себе. Это черточка очень характерная, и опять не имевшая прецедента

в февральской революции: восторг Таврического в дни 28 февраля—1 марта относился как будто к небу, с которого упала революция, он был стихиен, а восторг Смольного был более земной, это был „самовосторг“, ибо „мы сделали революцию“—об этом кричал каждый камень в Смольном, и особенно в этот день 26 октября.

Был об‘явлен перерыв, и я поспешил в редакцию и не вернулся уж в этот день в Смольный. И не был, к сожалению, свидетелем того, как встретило собрание оглашение списка членов нового правительства, имевшее место после перерыва. Собрание, конечно, не было посвящено в те родовые муки, коими сопровождалось появление на свет этого правительства, оно не знало, что целый день в Смольном шли переговоры между левыми с.-р. и большевиками, целый день кокетничали левые с.-р., отвергая портфели, которые с большой готовностью предлагали им разделить большевики, не знало оно даже, что в перерыве заседания с‘езда происходило в третьем этаже Смольного летучее совещание при участии Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого—от большевиков, Карелина и Камкова—от левых с.-р., на котором левые с.-р. еще раз сыграли в Бориса Годунова, но все же от власти отказались—не чувствовали за собой прочного тыла: левые с.-р. изменили большевикам еще прежде, чем они к ним пришли, измена эта, можно сказать, была первым актом этой наиболее женско-нелепой партии из всех партий русской революции. Но, повторяю, с‘езд Советов ничего не знал о родовых муках, ему казалось, как рассказывали мне присутствовавшие при оглашении списка комиссаров, что эта власть явилась, как Афродита из пены морской стихийно, радостно - легко и вдохновенно.

Я пришел в редакцию.

— Ну, что — забросали меня вопросами редакторы и сотрудники. Мне захотелось в одном или нескольких словах выразить впечатление, смысл и значение всего того, что произошло в Смольном в этот день. И у меня вырвалось неожиданно для самого себя—„сепаратный мир“. И помню, что, сказав это, тут же удивился, что мои слова не вызвали удивления, были встречены спокойно.

Очевидно, нам всем, наблюдателям со стороны, каковыми являлись безусловно новожизненцы, сразу пришлась по сердцу удобная схема: провиденциальная, историческая роль власти Смольного,—это подписать „похабный“, сепаратный мир, и, выполнивши грязную работу мавра,—уйти. Никто из нас еще не понимал истинного смысла Октябрьского переворота.

Но этот размах и масштаб сразу почувствовали и психологически оценили, интуитивно поняли, не имея на то еще никаких политических данных, низы Смольного, все эти рядовые члены с‘езда Петроградского совета и т. д.

Глава III.

На другой день.

Целую неделю длился этот „другой день“—до 4 ноября. Но потому можно об‘единить эту неделю в общем заголовке, что она была целиком пронизана двумя настроениями, настроениями противоречивыми, более того,—полярными.

В двух концентрических кругах была сосредоточена в этот период времени жизнь Смольного, в этих двух концентрических кругах резко зафиксировались два противоречивых, более того—полярных настроения.

В первом кругу—внешнем, являвшемся периферией революции, помещался Петроградский совет, со всеми его отделами, подведомственными органами и параллельными образованиями, вроде гарнизонного совещания, собиравшегося в первые дни почти ежедневно. Тут же оседал пришлый элемент: всевозможные делегаты, ходоки, люди с фронта и т. д. Впрочем, в эту неделю пришлого элемента было немного в Смольном, население Смольного за эту неделю даже как будто уменьшилось, по причинам, о которых дальше.

Внутренний узкий круг был вместилищем верхов Смольного, лидеров и полулидеров, непосредственно направлявших события и делавших политику. В этом кругу находились люди из ЦИК 2-го созыва, первое заседание которого был 29 или 28 октября, члены военно-революционного комитета, члены военно-следственной комиссии, образовавшейся в конце этой недели. Этих жителей второго круга было в общем немного, пожалуй, не более 100—120 человек.

Для того, чтобы познакомиться с настроениями, психикой, мыслями и словами людей первого круга—нужно было предпринять несколько прогулок по корридорам первого и второго этажа, а, главным образом, присутствовать на заседании Петроградского совета, происходивших за эту неделю почти ежедневно. Местопребыванием людей внутреннего круга был, обычно, третий этаж, в частности две комнаты, занимавшиеся военно-революционным комитетом. Отголоски их настроений, дел и дум слышны были на заседаниях ЦИК.

Заседания Петроградского совета происходили в актовом зале, заседания ЦИК—в комнате рядом. Актовый зал непосредственно соединялся с этой комнатой боковой дверью. До переворота дверь эта была постоянно закрыта, и доступ в комнату был только через дверь ведущую в коридор. Но 25 октября я уже нашел дверь из актового зала в соседнюю комнату открытой, и ее уже не запирали. Но если эта незапертая дверь символизировала что-нибудь, то только то, что не было нужды в запорах и внешних преградах для проведения резкой грани между людьми актового зала и соседней комнаты, между жителями внешнего и внутреннего круга. Верхи и низы Смольного часто смешивались друг с другом: члены ЦИК заходили на заседания совета, члены совета с большим интересом занимали места для публики за барьером, образованным рядом скамеек в комнате заседаний ЦИК. Но то было лишь механическое сношение, а не ассимиляция, психика их была резко отлична, более того, полярна.

И вот так, приблизительно, мыслили и чувствовали в эту неделю люди первого круга...

Одно из заседаний Петроградского совета. Актовый зал далеко не полон: в нем легко помещается до тысячи человек, количество присутствовавших на заседаниях этой недели вряд ли превышало 400—500—600 человек. Как только входишь в зал, бросается в глаза серый цвет и ударяет в нос солдатский запах: значительное большинство присутствующих—солдаты и рабочие. Сидят все в шапках. Курят. Солдаты почти все с винтовками, винтовки также и у отдельных рабочих. Аудитория состоит не только из членов Петроградского совета—доступ на заседания свободный для всех.

Программа заседаний одна и та же почти за всю неделю. Сначала выступают делегаты тыла и фронта, главным образом, с фронта. Разные лица, разные голоса — но одни и те же речи.—Воевать дальше не можем, голодаем, холодаем. Весть о перевороте встретили радостно, верим, что новая власть даст мир. Нас хотели обмануть, повести на Петроград, но во время мы узнали, что новая власть стоит за нас. Фронт обижен на тыл — нет пополнений. Всеми силами будем

поддерживать новое правительство, ибо верим, что оно даст нам мир. С большим вниманием прислушивается аудитория к этим однообразным, монотонным, зачастую смутным и спутанным речам. Грубая конкретность этих и подобных заявлений, оглашаемых наказов, весьма по душе приходится аудитории,— в этой именно конкретности видит она лишнее доказательство необходимости содеянного переворота. Ведь, вот весь фронт в голос кричит, что воевать больше не может, а новое правительство через неделю, две, три окончит войну. Как кончит? На эту тему не говорят ни делегаты с фронта, ни члены совета, словно по молчаливому уговору, а когда я пытался затрагивать этот вопрос в частных беседах с людьми первого круга, то получал всегда один, стереотипный ответ—ссылку на декрет о мире.

В перемежку с делегатами фронта—делегаты тыла. Среди них были разные. Одни представители тех или иных Петроградских рабочих организаций и об'единений, или из ближних к Петрограду мест. Они специально пришли сюда приветствовать новую власть, с новыми наказами, со штампованными резолюциями. Интерес этих делегатов—в сопроводительных к резолюциям и наказам речах. Речи эти немногословны, неказисты. Но всегда—страшно искренни. И в них нет грубой конкретности речей фронтовых делегатов—новое правительство даст нам мир, а потому мы его поддерживаем. Из двух лозунгов Октября—мир и хлеб—второй лозунг был менее упрощен, менее конкретен, пожалуй, менее понятен для Смольного—сообразно этому, речи о „хлебе", т. е. о социальном смысле переворота были более туманны, не так определенно штампованы, выражали более чаяния и надежды, пожалуй, слепую веру в какой-то совершенно особый смысл переворота, нежели резко очерченные, конкретные требования. И вот тут эти речи сливались воедино с заявлениями ораторов третьей категории.

Эта третья категория были ходоки с дальних мест, преимущественно крестьяне. Они направились в Петроград в Смольный еще до переворота, он их застал в пути, а чаще всего они до прибытия в Смольный ничего о нем не знали. В их лице Смольный соприкоснулся с живой Русью, с темной Русью. Колоссально было впечатление для обеих сторон. Им, ходокам, как снег на голову, упало: на Руси новое

правительство, рабоче-крестьянская власть. Мне пришлось беседовать с очень многими из них, и у всех почти было одно и то же: отсутствие интереса, как образовалась эта власть, откуда она пришла. Было одно только опьянение фактом— самим по себе. Была неожиданность, почти пугавшая. И это опьянение неожиданностью переходило, под влиянием своеобразной атмосферы Смольного и еще более характерной атмосферы актового зала, в бурный восторг, выливавшийся в их бессвязных, спутанных речах. Это опять-таки не был конкретный восторг по поводу ожидаемых при новом правительстве льгот и благ. Повторяю еще раз, что в тот период мало кто представлял себе в реальной форме среди об'ектов моего наблюдения эти блага и льготы. Нет, то был восторг принципиальный, если хотите идеалистический, восторг того, что у нас „рабоче-крестьянская власть“.

Конечно, не обходилось дело без конкретных жалоб и требований. Помню, например, как один кубанский крестьянин, кажется из-под Майкопа, жаловался, что местные помещики забрали весь хлеб у крестьян, надеялся, что новая власть этот хлеб отнимет, и тут же на собрании предлагал себя в качестве делегата, эмиссара. Я запомнил оратора благодаря исключительной страстности его речи, благодаря ясно сквозившей в словах его вере, что не пропадут его слова даром, что Смольный или Петроградский совет, или народные комиссары сразу сделают как то так, что не останется без ответа и удовлетворения жалоба его односельчан, которую он сюда принес.

О многом говорили ораторы первой части заседаний Петроградского совета. Но почти совсем не говорили об одном— о том, что казалось таким важным людям из второго, внутреннего круга Смольного: об острых политических вопросах момента. А, ведь, они знали о них, ведь, хотя бы краюшком уха слыхали они, что как раз в эти дни усиленно дебатировался вопрос о соглашении с прочими политическими партиями, о расширении правительственной базы, о создании единого социалистического фронта. Ведь, об этом почти ежедневно говорили и выступавшие на заседаниях лидеры. Но все же этот вопрос проходил как-то мимо них. И это относится не только к делегатам фронта и тыла, не посвященным в политическую обстановку переворота, но и к аборигенам Смольного,

к рядовым членам совета. По истечении двух—трех дней этой недели, меня заинтересовало это пренебрежение к политической проблеме момента, и я попытался в беседах и вопросах выяснить его причины. Но мне удалось выяснить лишь одно: низы Смольного, эти люди внешнего круга не понимали даже, в чем суть вопроса. Ведь, победа переворота была так легка, количество ушедших со с‘езда было так незначительно, и эти ушедшие были еще ранее всей своей деятельностью так скомпрометированы в глазах Смольного, что он при всем своем добросовестном желании не смог проникнуться важностью вопроса о соглашении. И если кто-либо из ораторов первой стадии заседаний касался политических вопросов, то трактовал их наотмашь, с размаху, с максимализмом поистине свирепым, но от этого не менее искренним. И матрос, заявивший на одном из заседаний:—„Мы не позволим большевикам соглашаться с нашими врагами“—(буквально)—был далеко не единственным.

Были и противоположные голоса, предлагавшие „единый социалистический фронт“, но невольно бросалось в глаза, что то были голоса не живых речей, а штампованных резолюций, представлявшихся от имени таких организаций, как городские служащие и т. д.

Как реагировала аудитория на речи, заявления и наказы этих ораторов, представлявших плоть от плоти и кровь от крови собрания? Если сказать с восторгом—то этого будет мало. Стены актового зала часто видали восторги аудитории. С восторгом всегда принимали и выслушивали Троцкого, Володарского. Но в данном случае было больше, чем восторг, было полнейшее слияние слушавших с говорившими. К этим ораторам не было отношения, как к людям „со стороны“, или „стоящими над“, а такое отношение нередко улавливалось к речам лидеров. А, кроме того, в заявлениях, в неуклюжих речах и красочных наказах всех этих делегатов и ходоков чувствовала аудитория нити, связующие Смольный с градами и весями, селами и деревнями России. Весьма дороги были эти нити для Смольного.

И я не удивлялся поэтому, когда был свидетелем, как самые неуклюжие, заскорузлые, примитивные слова какого-либо крестьянина или матроса вызывали такую бурю аплодисментов, какой не видала самая вдохновенная, самая горячая речь любого из ораторов октября.

Но не мало аплодисментов слышали все выступавшие во второй половине этих характерных заседаний Петроградского совета лидеры и полулидеры. Их было довольно много: Зиновьев, Троцкий, Каменев, Володарский, Сокольников, Красиков, Крыленко, из левых с.-р. Спиро, Камков. Один раз выступил Дыбенко, докладывавший, как он ловил Керенского. Ленин, как мне помнится, не говорил ни разу в этот период на заседаниях. Характер речей был всегда один и тот же: информационно-агитационный. Делались доклады о положении на гатчинском фронте, о событиях в Москве, о ходе политических переговоров—эти три темы повторялись ежедневно.

Происходило — да простится грубый термин — ежедневное „накачивание" аудитории революционностью. Но, повторяю, отнюдь это не было насильственное накачивание: аудитория к этому стремилась всем своим существом.

Особенно эта черта сказывалась на протяжении третьей фазы собраний, во время ответов докладчиков на задаваемые из аудитории вопросы. Вопросы эти, в громадном большинстве случаев, касались конкретных деталей происходивших событий, отдельных, зачастую, маловажных частностей. Аудитория либо не желала, либо не могла концентрировать свое внимание на вопросах общих и теоретических и направляла его в сферу конкретных мелочей. Естественно, что эти конкретные мелочи и детали всегда разрешались докладчиками вполне удовлетворительно, раз'яснялись и освещались до последней степени ясности, что аудитории и нужно было. Быть может, существовал какой-то молчаливый уговор между докладчиками и собранием: не касаться в своих вопросах тех тем, которых нельзя было целиком исчерпать несколькими энергичными и категоричными фразами. Аудитория, одним словом, словно сама оберегала свое настроение, боясь пролить хотя бы одну каплю из чаши революционного напитка, ей подносившегося.

И поэтому, конечно, не допускались на этих собраниях ослабляющие волю и разлагающие настроения—дискуссии. В эту неделю, вообще, в Смольном не было дискуссий, но особенно ревностно соблюдался этот неписанный закон на заседаниях совета. Меньшевики и правые с.-р. пытались было поднять голос на одном из первых заседаний совета, но их оборвали при первых попытках высказаться, и тут же лишили права слова, как бы оптом, сразу на все заседания. Так что на дальнейших они и не пытались выступать. Но запрет дискуссий распространялся и на левых с.-р. Когда на одном из заседаний захотел возразить на доклад Зиновьева о политическом положении левый с.-р. Спиро, после первых же его слов собрание подняло бурю и заставило его прекратить свою речь, не дав ему даже закончить мысль.

Аудитория Петроградского совета в эти дни инстинктивно избегала всякой рефлексии. Эта аудитория уподоблялась мощному организму, жадно воспринимающему впечатления, моментально перерабатывающему их и тут же реагирующему на эти впечатления внешнего мира, приносимые ему речами докладчиков—определенным, твердым, устойчивым настроением. Не было между двумя этими процессами—восприятия и реагирования—ни малейшего перерыва для раздумья, ни ничтожнейшей паузы для рефлексии. Оба процесса сливались в единое целое.

Обыкновенно поздно ночью кончались эти собрания. Выходишь потом из актового зала, пройдешься несколько раз по корридорам, заглянешь в различные комнаты. Хорош был Смольный в эти дни и ночи. Правда, жуток и суров. Как сказано уже выше, бросалось в глаза, что он значительно опустел в это время. Ушли многие, слишком многие. Помнится, что сбежал даже солдат, заведывавший кухней в нижнем этаже. Нет журналистов. Сведено до минимума число „революционных девиц“. Еще не появились маркитанты революции, обозная сволочь от революции. Смольный очистился за эти дни. Приобрел мужественный облик и, конечно, военный облик. И не только в том он выражался, что проникнуть в здание института можно было, лишь пройдя несколько суровых кордонов, не в том, что у двери каждой комнаты

стояли на вытяжку солдаты и красноармейцы с винтовкой у ноги, не в том также, что чуть ли не каждый час производились во всем здании военные обходы и поверки мандатов присутствующих, и даже не в том, что часто в коридорах Смольного можно было встретить экзотически-революционные фигуры, одетые и вооруженные так, как может одеть и вооружить только революция...

Нет, основной чертой, указывавшей на „военность“ облика нового Смольного, была строгая согласованность жизни института в эти дни, так сказать, „единоцентрие“ этой жизни. Чувствовалось, что в ходу какая-то большая машина, что все эти десятки и сотни лиц, наполняющие Смольный,—это все валы и винтики этой машины, что все их действия, самые безразличные, как будто пригнаны к общему ходу машины. И, главное,—всякое, казалось бы самое случайное, действие этих людей, этих винтиков и валов было пронизано в самой сердцевине своей духом добровольной дисциплины.

Трудно описать технический характер работы этих людей. Для наблюдателя со стороны она могла, пожалуй, казаться спутанной, случайной и излишне суетливой. Но стоило лишь всмотреться в лица этих беспрестанно пробегавших коридоры Смольного людей, перекинуться с ними на ходу несколькими словами, как это я делал, чтобы убедиться в полнейшем отсутствии в их настроении нот рефлексии или какой-нибудь иной спутанности, тягостной нерешительности. Смотришь на них и отчетливо видишь: для них все ясно, у них нет ни иоты сомнений в том, что они делают то, что нужно.

И особенно это было видно на третий или на четвертый день переворота, когда в Смольный стали вливаться и из Смольного отправляться отряды рабочей красной гвардии, сражавшиеся против Керенского. Как сказано выше—ночь на 25 октября в Смольном была мрачна, молчалива и серьезна, мрачны, молчаливы и серьезны были солдатские отряды, отправлявшиеся на занятие правительственных учреждений. Но не совсем о том свидетельствовали лица и речи красногвардейцев. Как регулярное войско, эти красногвардейцы имели жалкий вид: разные возрасты, от 16 до 50 лет, разнокалиберное вооружение, с бору и сосенки собранное,—в руке винтовка, за поясом—финский нож, офицерский наган в кобуре—и сбоку торчит вдруг нелепо заржавленная сабля, самые

фантастические костюмы, полное отсутствие военной выправки, походка с развальцем... Все это так. А вотрешься в толпу красногвардейцев, побеседуешь так, мимоходом, полушуткой с одним, с другим, и видишь: да, ведь, они будто на забаву идут, с юмором, с весельем, с каким-то беззаботным оптимизмом и безграничной верой в правоту и успех своего дела. Особо высокого „революционного пафоса" у них как будто не чувствуется, за исключением, пожалуй, нескольких более пожилых—те молчаливее и сосредоточеннее, у большинства настроение, как будто они делают простое, будничное, житейское дело. Но делают его с какой-то совершенно особой, невиданной охотой. Вот что раньше всего бросалось в глаза.

Это относится к красногвардейцам и к людям Смольного (из первого внешнего круга) в тесном смысле слова. У обеих этих групп единство настроения, отнюдь не похожее, контрастирующее, полярное с единством опять-таки настроения, пронизывавшего людей внутреннего круга. Но об этом дальше. И единое настроение, одновременное, но постоянное переживание этих людей первого круга определялось, как это было отчетливо видно, лишь двумя чертами: беззаветной верой, лишенной всякой рефлексии, и безудержным, поистине ребяческим, раздражавшим подчас оптимизмом. Вера и оптимизм. Этим дышали заседания Петроградского совета, этим жили коридоры Смольного и многочисленные его комнаты, где творилась будничная работа, это сияло и искрилось в разговорах обеденных очередей внизу в столовой, где мне приходилось простаивать по часу и прислушиваться к толкам и беседам. Выше сказано, что в Смольном в эту неделю не было дискуссий. Но из этого не следует, что он молчал. О нет, он много и с охотой говорил. И все об одном говорил: об открывающихся горизонтах. Не в смысле каких-либо политических прогнозов—на этот счет низы Смольного были беззаботны, а так,—„взгляд и нечто".

Это полная гамма безаботного оптимизма. Не то, чтобы они не сознавали трудностей, открывающихся перед ними. Когда, бывало, укажешь, какие препятствия на их пути, какие тяготы на плечах новой власти—они охотно соглашаются. Но когда выразишь сомнение—справятся ли,—то сразу почувствуешь тут: контакт с собеседником нарушился. Они отмалчиваются,

смотрят волком. Один молодой рабочий ответил на мое подобное сомнение: вы, интеллигент, этого (т.-е. нашей веры и оптимизма) понять не можете, и оборвал на этом разговор, пустив мне вслед презрительно: „новожизненец“. И, пораздумав несколько, я согласился с этим рабочим.

Еще один штрих—о ненависти к инакомыслящим, к буржуазии, к интеллигенции. Ее было в Смольном много в эти дни, и с каждым днем становилась она все гуще, все компактнее, все убежденнее. Много причин было, питавших ее, и, в первую голову, обозначившийся уже на третий, четвертый день саботаж интеллигенции и социал-соглашательских фракций.

Помню, мне не казалось тогда, что эту ненависть разжигают верхи, и более того—было ясное представление, что верхи тут идут лишь навстречу массе Смольного. Стертым пятаком, дешевой ходовой монетой казалось мне пресловутое выражение: нож в спину. А для них—я неоднократно убеждался в этом—было оно полно реальнейшего, кровавого смысла. Они словно физически ощущали каждый поворот этого ножа, при каждом новом отходе от них тех кругов, которые они считали своими. И особенно выражалось это их чувство во вне, когда речь заходила об отношении к перевороту „Новой Жизни“, т. е. главным образом, Горького. Буржуазию низы Смольного ненавидели, так сказать, „по долгу службы“, инакомыслящую социалистическую интеллигенцию—более болезненно, в виде реакции на саботаж. Что-же касается Горького—а характерно, что о нем много говорили в очередях и кулуарных беседах, то тут даже не ненависть была, а какое-то горькое разочарование, тяжелая обида. И, бывало, я становился в тупик, когда с пеной у рта требовал у меня красногвардеец, или там кто-нибудь из людей Смольного (меня знали в кругах Смольного, как „новожизненца“) об‘яснить и оправдать ему поведение Горького. Никакие мои рассуждения не помогали. Упрощенное, цельное мышление требовало прямого, немногословного ответа на вопрос: „как же так, Горький всегда был за рабочий народ, а теперь не хочет помогать ему, когда рабочий народ сам хозяином стал“. И какие бы то ни было резоны отказывался

выслушивать мой собеседник, ибо несомненно для него было, что „рабочий народ хозяином стал“. Это для него было несомненно.

Террор, репрессии.

Несомненность вот этого положения узаконивала в глазах моего собеседника (а им был почти весь Смольный) всяческие репрессии. Когда начался поход на печать—с каким восторгом встретил Смольный этот поход. Как-то беседовал я с красногвардейцами, совершившими очередной набег на какую-то типографию: с наслаждением рассказывали они, как разбивали стереотип, и снова я оставался без слов, — ведь газета эта против рабочего народа, который хозяином стал, так о чем же здесь толковать...

Мощным потоком неслось по Смольному переживание беззаветной веры и безудержного оптимизма. По течению этого потока плыли все низы Смольного, весь внешний круг его населения. И бок о бок, рядом с этим потоком, отделенное от него лишь дверью из актового зала в соседнюю комнату было стоячее болото, образовавшееся настроениями и переживаниями людей второго, внутренного круга. Дверь эта была постоянно открыта, но не смешивались поток и болото, они жили раздельной жизнью.

Внутренний круг Смольного—жизнь его выявлялась для наблюдателя, главным образом, в заседаниях Ц. И. К.—делал политику. Основным настроением ее была—тревога, а содержанием—торговля.

Беззаветная вера и безудержный оптимизм были чужды лидерам и вдохновителям переворота с первого его момента.

„Тоска по идиллии“, проскользнувшая у Троцкого накануне 25 октября, реализовалась на другой день стремлением к расширению базы. И в течение первой недели после переворота с каждым днем растет это стремление, поддерживаемое сначала гатчинским фронтом, затем восстанием юнкеров, затем московскими событиями, и, наконец, все ширившимся саботажем, явившимся для лидеров почти таким же сюрпризом, как и для низов. Но все время это стремление терялось в пространстве, наталкиваясь на пустоту. Пустотой оказался Викжель, пустотой оказалось „однородное социалистическое правительство“. Первый период политической жизни Советской

власти напоминает собой судьбы соглашательской демократии в период демократического совещания. Та же тоска по коалиции, те же безуспешные поиски сил, находящихся направо, тот же арифметический метод решения политической проблемы: там различными комбинациями цифр хотели составить предпарламент, здесь применяли тот же метод конструкции Ц. И. К.

Вот несколько фактов политической жизни Смольного этой недели, но им должна предшествовать оговорка.

Меньше всего эти записки, мемуары, странички из дневника являются хотя бы попыткой дать связный, стройный рассказ о политической истории переворота. Отнюдь не пытается сделать этого, меньше всего на это претендует „наблюдатель со стороны“, каковым является автор этих записок, и в первую голову именно потому, что он был только наблюдателем со стороны, отнюдь не политиком, не участником событий, даже не членом какой-либо политической партии. Только наблюдателем, всматривавшимся в события с безграничным интересом, с искренним желанием и готовностью понять происходящее. Понять—но не судить. А историк—почти всегда судья. Поэтому пусть не претендует читатель на отрывочность, спутанность, случайность, пожалуй, этих записок, мемуаров, страничек из дневника, особенно в тех местах, где изложение касается чисто политических вопросов. Конечно, можно было бы постараться задним числом устранить все эти пробелы, заполнить зияющие дыры изложения, но тогда перед читателем была бы искусственная постройка, сооруженная из чужих кирпичей. Я не желаю обманывать читателя, я хочу дать ему лишь то, что видел, и лишь так, как я видел.

Выше говорилось уже, что уже в первый и второй день с‘езда большевики стремились к коалиции и предлагали разделить власть левым с.-р. Они отказались. Как мне рассказывал потом В. А. Карелин, просто потому, что они, во-первых, не верили в большевиков, во-вторых, не верили в себя. В момент переворота левые с. р., вообще говоря, отнюдь не „управляли событиями“. Из предпарламента пришли Карелин и Камков в ночь на 26 октября в Смольный, т. е. чужими пришли. И на заседаниях с‘езда они держались весьма скромно, со скромностью, непривычной им впоследствии, когда,

под влиянием и давлением большевиков, они искренно уверовали, что за ними стоят „массы“, и сообразно этому заболели.

Всего один или два раза выступил Карелин на с‘езде, не более—Камков. И короткие речи их были бесцветны и до крайности осторожны: отсутствие осуждения переворота, но и также признания его в полной мере и с легким сердцем. В сущности говоря, единственным активным действием партии левых с.-р. за время переворота было то, что они не покинули с‘езда. Отдельные члены партии—не левых с.-р., таковой еще не существовало ни юридически, ни фактически в момент переворота, а вообще партии с.-р.—принимали весьма энергичное участие в перевороте, как, например, член военно-революционного комитета, и один из его организаторов Лазимир, Александровский, в Москве—Саблин, но они действовали индивидуально, на свой страх и риск.

Итак, с первого же момента образования Советской власти тянулась она к левым с.-р., а через них и меньшевикам-интернационалистам, и далее направо. 29 октября, на заседании полковых представителей, заявил об этом, ничуть не смущаясь и без всяких обиняков Ленин, а 30-го числа на одном из первых заседаний Ц. И. К. была избрана своего рода контактная или разговорная комиссия, долженствовавшая представлять Смольный в Викжель. Председателем Ц. И. К. был тогда Каменев.

Характерен был состав этой контактной комиссии. Из 5 лиц состояла она—2-х большевиков, 2-х левых с.-р. и одного меньшевика-интернационалиста. Большевики отказались от большинства в комиссии, несмотря на то, что у них было большинство в Ц. И. К., и притом послали в комиссию таких лиц, каковые отнюдь не могли быть одиозны правым сферам: Рязанова и Свердлова. Д. В. Рязанов—был известен широкой публике в период, предшествовавший перевороту, как один из самых свирепых „ленинцев“: какая трагикомическая ошибка это была.

Своей этой репутации Рязанов был обязан особому „французскому“ характеру своего красноречия и громадным голосовым средствам. Из этих обстоятельств и проистекала чрезвычайная „свирепость“ этого добрейшей души человека и усугублялась еще пристальным, почти остановившимся его взглядом, из-под густых, нависших бровей. Сам Рязанов знал,

что он своего рода „большевистское пугало“ для маленьких детей, говорил об этом полушутя, но вряд ли был этим особо доволен.

Лидеры же демократии великолепно знали, что собой в действительности представляет Рязанов, знали, что он отнюдь не является крайним и безусловным апологетом переворота, и не могли поэтому не понимать, что назначение его в комиссию снова является большевистским кивком направо.

Левые с. р. в комиссии—Закс и Буткевич были новыми людьми и для Смольного, и для соглашательской демократии. И, наконец, пятый член комиссии с.-д. интернационалист Сагарашвили—ничего особого собой не представлял.

Судьба этой комиссии неясна. Помню, что, несмотря на все мои усилия—это представляло большой интерес с чисто газетной точки зрения,—мне не удалось тогда найти следов ее деятельности. Вполне возможно, что никакой деятельности и не было, ибо в дальнейшем переговоры с Викжелем и в Викжеле велись центральными комитетами партий непосредственно. Очевидно, большевики и секунды не думали поручать действительные переговоры именно этой комиссии, и избрание ее имело значение не более как психологического аванса.

А заседания в Викжеле шли беспрерывно в это время. Я не присутствовал ни на одном из них—был слишком увлечен Смольным и заседаниями Ц. И. К. Судя по рассказам участников викжелевских заседаний, они носили тягостный характер. Стороны абсолютно и откровенно не доверяли друг другу, и содержание речей определялось в первую голову новостями с фронтов—гатчинского и московского.

Люди внешнего круга Смольного весьма мало интересовались Викжелем, но члены Ц. И. К. прислушивались к новостям из Викжеля—спутанным, туманным и противоречивым, менявшимся не только ежедневно, но и сотни раз в течение одного дня—с настороженным вниманием.

Ц. И. К. в этот период времени—до 16 ноября состоял из 120 человек. Большевики взяли себе весьма скромное большинство—в 61 человек и предоставили 35 мест левым с.-р., 6 мест с.-д.-интернационалистам и остальные места национальным партиям и случайно оказавшимся в Смольном крестьянам в количестве 5—6 человек. Из 120 человек на собраниях присутствовало фактически не более половины.

Членами фракции с.-д.-интернационалистов состояли также Авилов, Базаров, Строев. Но Базаров и Строев присутствовали всего на одном—двух заседаниях—„революционный парламент“ оказался не понутру редакторам „Новой Жизни“: лево эс-эровское невежество и большевистское „головотяпство“ претили блестящему и упрямому „интеллектюэлю“, каким был Базаров, и раздражало спокойно-вдумчивую натуру Строева.

Всю „тяжесть“ оппозиции несли на себе, таким образом, если не говорить о левых с.-р.—Суханов и Авилов. Суханов сохранил, таким образом, свое амплуа „безответственной оппозици“, занятое им с апреля 1917 года. Правда, сначала роль оппозиции справа была ему несколько странна и непривычна, но свыкся он с этим довольно скоро, и со свойственным ему импрессионистским сарказмом сражался с большинством Ц. И. К. Бывший большевик Авилов, занимавший в „Новой Жизни“ до переворота одну из самых левых позиций, правел в это время с угрожающей быстротой, и с тяжеловесным негодованием, подкрепленным статистикой и экономикой, заменявших в его речах цветы красноречия, обрушивался в заседаниях Ц. И. К. на большевиков. И, наконец, Крамарев (с.-д. интернационалист) выступал в ролях морального изобличителя новой власти, говорил всегда с повышенным пафосом, наталкивающимся, увы, на хохот аудитории, и оперировал доводами от „благородного негодования“. Он первый пустил в оборот ходкое словечко—„самодержавие Ленина и Троцкого“.

Но в общем большевики придавали мало значения оппозиции с.-д.-интернационалистов. Эта партия равно, как и „Новая Жизнь“, была для них чем-то вроде „тещи в доме“, неприятным, бранчливым, вздорным, но своим человеком, наследства от которого, к сожалению, ожидать не приходилось.

К своим „союзникам поневоле“—левым с.-р.—большевики относились с большой ненавистью. Левые с.-р. мало-по-малу поняли свое значение для большевиков и сделали отсюда все соответствующие выводы. В заседаниях Ц. И. К. от левых с.-р. чаще других выступали Карелин, Камков, Малкин, Левин.

Если можно приурочивать к определенным датам те или иные повороты политического курса, то день 4-го ноября был тем моментом, вплоть до которого основным настроением

верхов Смольного было настроение тревоги, а основным содержанием их работы была торговля за власть.

Источниками, питавшими эту тревогу извне были, как указывалось уже, гатчинский и московский фронты, а источниками изнутри—саботаж всех министерств и вообще всего, что было вне Смольного.

Саботаж ошеломил. Верхи Смольного почувствовали себя в пустоте. Кругом—либо откровенные враги, либо притворные, с постоянной задней мыслью на уме, „друзья“ как левые эсэры. Новое правительство слишком ощущало пустоту вокруг не только в политической своей деятельности, но это било больнее и производило большее впечатление в конкретных повседневных мелочах. Это было анекдотическое положение. Совсем не трудно было написать декрет, но когда он уже был написан — правительство становилось в тупик: не было машинистки для того, чтобы переписать его, не было курьера для отправки его в типографию. Бегство из Смольного было повальное. Помню, как 26 октября явился в редакцию „Известий ЦИК“, помещавшуюся во втором этаже в комнате 48, Стеклов, чтобы вступить в исполнение своих обязанностей, как нового редактора. Хроникеры, машинистки, посыльные—все в один голос заявили ему о своем уходе. Стеклов растерялся—он не ожидал, что саботаж начнется так скоро и так близко от него. Он пытался воздействовать на уходивших, он переходил от красноречивых призывов к гражданскому долгу к не менее красноречивым угрозам—все было напрасно. Пришлось делать газету самим и кустарными способами. И каждый из представителей новой власти натыкался в сфере деятельности на то же, с чем столкнулся Стеклов: на тупой, упорный, молчаливый саботаж. Эти бытовые условия влияли, конечно, на психику новой власти, лишали ее устойчивости, подрывали ее моральное равновесие.

А переговоры шли туго, неопределенность стратегического положения сковывала руки обеих сторон. Но одна сторона более нервничала — это была новая власть, и она шла на уступки. Если 1-го ноября Стеклов писал в передовице, что категорическим условием при расширении состава ЦИК является сохранение в нем большевистского большинства, то 2-го ноября ЦИК принял резолюцию, в которой говорится

уже не о большевистском большинстве в правительстве, а лишь о половине мест. В эти же, приблизительно, дни—1—2—10 ноября в верхах Смольного вопрос о соглашении определенно связывался с устранением кандидатур Троцкого и Ленина. Левые эсэры горячо стояли за отвод большевистских вождей...

Соответственно всему этому, весьма тяжелая атмосфера господствовала на заседаниях ЦИК в эти дни. Прений пока не было, только доклады о ходе переговоров. Не было и следа от бурной демагогии заседаний Питерского совета; слишком незначительна была аудитория—60—80 человек, из коих большевиков не было половины, да и при том слишком семейна была атмосфера этих собраний. Каковы же были формальные причины затяжки переговоров?

Суть дела, даже не для участников заседаний в Викжеле, была очень проста. О составе ЦИК, совете народных комиссаров, о различных цифровых взаимоотношениях,—можно так или иначе договориться—это чувствовалось. Но нельзя было договориться о другом,—о так называемых „предварительных пунктах соглашения". В них входил раньше всего—отказ от террора. Люди из Викжеля правильно направляли свой удар: они метили в военно-революционный комитет.

Если в первые дни после переворота была какая-нибудь власть, то эта была, конечно, не власть Совнаркома, тем менее ЦИК. Это была власть военно-революционного комитета *). А если он и находился с кем-нибудь в контакте, то только с ЦК большевиков.

А этот контакт был очень условен и приблизителен, благодаря самому характеру работы военно-революционного комитета. Он заседал беспрерывно, при неопределенном, все время менявшемся, и количественно, и персонально, составе, и он издавал приказания, тут же исполнявшиеся людьми Смольного, людьми внешнего круга, часто боевые, т. е. не терпящие отлагательства и обсуждений, отвечающие на требования минуты. Весь террор первого периода новой власти и носил именно этот ответно-боевой характер: он был реакцией на саботаж. Совершенно ясно было, что отказ от террора,

*) Снова рискованное обобщение, вряд ли подтвердившееся (М. Л. Октябрь, 1924 г.).

репрессий, этих лаконических распоряжений, исходящих из комнаты третьего этажа № 63, на которых стояла зачастую всего лишь одна подпись, и которые, зачастую, действительно отдавались всего лишь одним лицом, без предварительного обсуждения, от этих немногословных военных приказов, которые стремились охватить и охватывали фактически все стороны тогдашней государственной жизни, — свелся бы на деле к уничтожению военно-революционного комитета, т. е. к уничтожению новой власти. Совершенно ясно было, что на это большевики пойти не могли. И, когда большевистский ЦК принял 2-го ноября резолюцию, как будто идущую довольно далеко по пути к соглашению, но в то же время отказался поставить в известные рамки деятельность военно-революционного комитета, оппозиция в ЦК поняла, что соглащение окончательно сорвано.

Это было 2 ноября. И в тот-же день, в пятом часу вечера, прибежал в редакцию „Новой Жизни“ на Шпалерную А. В. Луначарский. Вбежал в комнату одного из редакторов, прочитал прерывающимся голосом свое знаменитое, могущее составить украшение коллекции исторических документов, письмо об отставке, бросил его на стол и выбежал, не сказав более ни слова. А на другой день вечером я имел с Луначарским в Смольном длинную весьма интересную беседу. Он говорил, что ему ударила в голову пролитая кровь, он заявлял, что чуть не наложил на себя руки. Но потом,—заявлял он,—он убедился в своей психологической слабости и подчеркнул, что лечение от нее найдет в соприкосновении с низами, с революционными массами, с красногвардейцами и матросами. Он говорил о них со слезами восторга на глазах. А вместе с тем, он тут же развил мне пространную теорию оправдания большевизма, согласно которой большевистская власть—это плотина против надвигающейся стихии „слепого и опьяненного бунта“. В этом ее историческая миссия, ее социалистическое оправдание.

Как будто несколько в стороне от внешних проявлений власти держался в эти дни Ленин, но он делал колоссальную внутреннюю работу, опираясь в ней на несколько десятков

верных, незадумывающихся, не рефлектирующих исполнителей из военно-революционного комитета и настроение низов Смольного, настроение, сотканное из беззаветной веры и безудержного оптимизма.

Я всего несколько раз за эти дни видел Ленина, и говорить мне с ним не пришлось. Не знаю, не обманывает ли меня теперь память, но вспоминаю я, на основании материала, представлявшегося его тогдашними речами (он выступал несколько раз в заседаниях полкового и гарнизонного совещания), что у него чувства тягостной тревоги, общего для верхов Смольного, не было. А если и было, так уж очень затаенное, ни одним штрихом не обнаруживавшееся. Он, очевидно, имел мужество поставить весь ход событий в зависимость от положения на гатчинском и московском фронтах.

И когда к 2—3 ноября оба фронта окончательно были ликвидированы, когда выяснилось, что ни одного штыка направо от Смольного нет, Ленин показал, что он вождь. Он круто повернул ход событий, он внезапно прекратил торговлю, он с великолепным презрением пустил в спину ушедшим комиссарам и членам ЦК несколько крупных слов, он повел линию усиления террора, он впервые с момента переворота, в заседании ЦИК от 4-го ноября, заговорил с левыми эсэрами языком власть имущего, языком безжалостным и пренебрежительным.

К 4 ноября положение определилось так. Новая власть покинута „союзниками поневоле“ — левые с.-р. постановили 4-го ноября отозвать своих представителей из военно-революционного комитета, и прочих учреждений. Новой власти нанесен удар и из нутри, из самих ее рядов, против ее тактики высказался целый ряд представителей руководящей партии. Казалось бы — полный крах. И, действительно, так мне в тот момент и казалось. Но, с другой стороны, против новой власти нет сейчас ни одного штыка. И вот, к величайшему моему удивлению, видел я, как, начиная с 4-го ноября, тревога верхов Смольного тает, как лед на солнце.

Видел я, что настроение людей внешнего круга заливает своими волнами и людей внутреннего круга, как исчезает на глазах стоячее болото тревоги, как весь Смольный превращается в поток оптимизма и веры. И я не мог понять, в чем тут дело.

На заседании ЦИК от 4-го ноября уже сказалась какая-то явственная перемена, какой-то совершенно новый—потом ставший привычным—тон появился у большевиков на этом заседании. И с этого числа начинается новый период в жизни Смольного... *)

Октябрь 1918 г.

---

*) На этом обрываются эти записи... (М. Л. Окт. 1924 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ.

1

Человеческое слово есть призыв к действию.

В этом—его основной социальный смысл. В этом—тайна его происхождения. В этом, начиная от хриплых криков первобытного человека и вплоть до утонченной изысканности современных стилистов,—прямая задача всякого языка, хотя бы она не всегда была заметна с первого же взгляда.

Взволнованное междометие нашего пещерного предка предупреждало его близких о грозящей опасности и, смотря по обстоятельствам, призывало их либо бежать без оглядки, либо приготовиться к отчаянной защите. А его первые, наполовину нечленораздельные звукоподражания означали призыв к совместным охотничьим или каким-либо иным трудовым действиям.

Постепенно сложившиеся из этих примитивных звуков первичные языки ярко говорят о том же самом значении человеческой речи. Они поражают исследователя безраздельно господствующим в них самодержавием глагольных корней, т. е. корней, означающих действие. Существительные появились на свет значительно позже глаголов; они были сначала не чем иным, как теми же глаголами, которые, кроме своего непосредственного смысла, приобретали еще и второе, дополнительное значение: кроме самого действия, начинали обозначать еще и предмет, постоянно участвующий в этом действии.

Усложнение общественных отношений и следовавшее по пятам за ним усложнение языка создали много иллюзий, прикрывших пеленою истину действительности. Все жизненные процессы приобрели богатое и разнообразное содержание; между первым и последним звеном каждого из них протянулись длинные цепи посредствующих промежуточных моментов; в простую связь между раздражением и немедленно отвечающим на него рефлексом вдвинулись многочисленные и разнообразные ступени и переходы; от начала жизненного акта до его конечного завершения приходится в большинстве случаев пройти

через продолжительный поток времени, через запутанную гамму ощущений и рассуждений, через дебри вспомогательных действий, предметов и событий. Между первичным сигналом к действию и самим действием, о котором говорит данный сигнал, протянулись далекие пути через время и пространство. Отсюда и возникают иллюзии: перестает сознаваться связь между альфой и омегой события, между сигналом и его заключительным результатом, а в частности — связь между словом и делом.

Но если разорвать поверхностный туман иллюзий, то подлинная сущность вещей не может подлежать сомнению. Языки цивилизованных народов наших дней служат той же цели, что и дикие возгласы первобытного человека. Призывать общество и его членов к тем или иным действиям—такова основная социальная задача, социальная функция и социальное оправдание языка.

Будет ли перед нами вдохновенная музыка слов поэта или привычные машинальные решения житейского обихода,—всегда и всюду слово предназначено для того, чтобы привести в конечном счете к какому-либо делу.

Пушкинский „Воевода" будит в читателе чувства, которые должны толкнуть его к определенному разрешению проблем любви и свободы, когда эти проблемы станут на его пути. Автоматически произносимые при вечернем прощании слова „спокойной ночи" означают, что произносящий их выражает кому-либо требуемое традиционными правилами общежития внимание и ждет такого же отношения к себе.

Связь слова с делом имеется всегда налицо неизменно.

Но не всегда легко осуществить эту связь. Не всегда слово легко достигает своей цели. Не всегда оно может быстро и беспрепятственно вызвать желаемое действие. Причина этого—в усложнении и удлинении путей от сигнала к рефлексу.

В первобытные простые времена, когда сигнал и рефлекс были непосредственно спаяны друг с другом, достаточно было выкрикнуть сигнальный звук, чтобы все пришло в движение. Достаточно было испустить возглас, означавший близость серого медведя, чтобы в воздухе замелькали тяжелые палицы и каменные топоры охотников, чтобы женщины и дети, толкаясь и спеша, устремились под защиту темного свода пещеры. Некоторые остатки таких примитивных рефлексов сохранились и в психике современного человека. Если в переполненном театре раздастся крик „пожар!", или на океанском пароходе прозвучит возглас „тонем!",—то сквозь толщу тысячелетних наслоений культуры прорвется наружу первобытный звериный инстинкт самосохранения, и немедленно беспорядочные панические действия последуют без всякой передышки за тревожным сигналом слова. Но случаи такого непосредственного

действия слова очень редки и немногочисленны в современной общественной жизни. Они могут считаться исключением. Правилом же является другое.

В качестве общего правила, слово лишь тогда достигает цели, если оно не ограничивается подачей первичного сигнала, но проходит весь сложный промежуточный путь, соединяющий в наше время повод к действию с самим действием. Надо пройти от альфы до омеги через все знаки жизненного алфавита. Надо связать все звенья цепи, протягивающейся между внешним фактом и человеческим ответом на него.

Чтобы позвать людей на борьбу, недостаточно крикнуть—„враг!“ Надо показать, чему этот враг угрожает, где он таится, в чем спасение от его козней, как проложить путь к победе над ним. Чтобы рассеять ошибки масс, недостаточно сказать им—„вас обманывают!“Надо выяснить предмет обмана, мотивы и цели обманщиков, подлинные интересы масс и способы их осуществления. Политические настроения западноевропейского пролетариата, все еще не изжившего иллюзий о мирных способах классовой борьбы, все еще верящего предающим его социал-реформистам, лучший пример тех трудностей, которые должно преодолевать слово на пути к очередному необходимейшему делу.

Чтобы привести к желанному результату, слово не может ограничиваться лишь подачей первичного сигнала. Оно должно пройти через все промежутки между этим сигналом и конечным действенным выводом из него, должно выковать и спаять все основные звенья цепи, связующей начало и конец. При этом слову приходится замещать реальную действительность, ибо связь между сигналом и выводом, между началом и концом жизненного процесса слагается из реальных фактов и событий; но эта реальная связь осуществляется по большей части лишь медленно и постепенно со множеством уклонений и запутанных остановок; вместо этой неверной медлительности, человеческое слово стремится провести прямую и быструю цепь к действию. Такой цели оно достигает при помощи изображения замещаемой им реальности. Но дабы цель была достигнута, изображение должно быть настолько ярким и жизненным, чтобы оно действовало так же или почти так же, как сама реальность.

В этом и заключается сущность *красноречия.*

Красноречие есть живое изображение той связи реальных предметов и событий, которая должна обусловить определенные человеческие действия.

2

Из общего определения природы красноречия нетрудно вывести определение красноречия политического.

Три основных признака характеризуют политическое красноречие. Во-первых, оно зовет людей к политическим действиям; во-вторых, оно обращается к тем, кто в данных условиях может и должен быть творцом политических актов; в-третьих, оно пользуется, в качестве средства, изображением тех предметов и событий, связь которых имеет политическое значение.

Каждый из этих признаков может воплощаться в различных конкретных формах,—и в зависимости от этих форм определяются и изменяются типы политического красноречия.

Прежде всего далеко не всегда одинаков бывает способ призыва к политическим действиям. Он видоизменяется в зависимости от степени политической напряженности переживаемого момента, а также в зависимости от того, являются ли преследуемые политические цели привычными и будничными, или же, наоборот, необычными и из ряда вон выходящими.

Простые и будничные цели преобладают в эпохи спокойного общественного развития, т. е. в те эпохи, когда данный общественный строй, укрепившись, окончательно оформившись и пустив глубокие корни, беспрепятственно развертывает присущие ему производительные силы и политические возможности, не испытывая ни внутренних резких недугов, ни серьезных внешних толчков со стороны „заграницы". В обществе, переживающем такой период развития, не возникает никаких или почти никаких новых крупных задач; надо почти исключительно заниматься лишь осуществлением текущих будничных целей. Эти цели связаны с потребностями повседневной социально-экономической практики,—и при том связаны так, что значение их легко делается понятным руководящим общественно-политическим слоям. Тогда нет надобности прилагать много усилий к тому, чтобы возбуждать при помощи политического красноречия стремление к каким-либо целям; достаточно упомянуть об этих целях, коротко указать на них, и первая часть задачи красноречия будет в подавляющем большинстве случаев выполнена. Ибо значение целей понятно, и стремление к ним уже давно пробуждено в ходе повседневной общественной жизни. Центр тяжести политического красноречия переносится тогда в другую точку. Оно должно показать путь к этим целям, выяснить практические способы их достижения.

Благодаря этому, в „спокойные" эпохи политическое красноречие приобретает по большей части характер красноречия делового. Ему не свойственны тогда высокий под'ем и увлекающий пафос, яркость изобразительных красок и способность волновать сердца. Оратор не прибегает тогда к пламенной проповеди, не действует при помощи практичных и холодноватых расчетов и вычислений. И если даже темперамент увлечет какого-нибудь пылкого трибуна к возвышенным цветам

красноречия, то в такие моменты его слова почти всегда прозвучат диссонансом, покажутся напыщенными или фальшивыми.

В этой напыщенности и фальшивости один великий английский оратор, Гладстон, нередко укорял другого—Биконсфильда. Яркий темперамент бойца почти всегда высоко поднимал речь Биконсфильда над уровнем обсуждающихся деловых вопросов, завлекая оратора на вершины философских и моральных обобщений и афоризмов даже по вопросу о размерах ассигнований на прокладку новых шоссейных дорог. Этой слабостью своего соперника и политического противника часто пользовался Гладстон, чтобы обрушить на него всю уничтожающую силу своего деловитого сарказма. Отвечая на одну из подобных пылких речей Биконсфильда, Гладстон прекрасно охарактеризовал сущность делового политического красноречия: „Я не буду,—говорил он,—искать источники своего вдохновения на высотах, недоступных простому смертному. Я не буду призывать во свидетели небо — там, где речь идет о скромных массовых работах на земле. Я не буду отвлеченно удаляться от вопроса, но буду касаться только его. Моя задача не в том, чтобы вспоминать возвышенные идеалы по всякому нужному и ненужному поводу, но в том, чтобы к каждому вопросу прилагать соответствующий ему метод. Когда речь идет о вопросах практических, я хотел бы ограничиться лишь исследованием степени пользы или вреда того или иного разрешения их; я превращусь на это время в клерка, который с пером в руках подсчитывает выгоды и убытки и не убегает от этого трудного, но нужного дела в царство праздных мечтаний. Можно помечтать на досуге, но сначала надо выполнить дело. И дело надо исполнять способами деловыми".

Этот деловой тип политического красноречия всегда процветал, особенно в Англии. Первая и самая мощная страна европейского капитализма, Англия, за редкими исключениями, шла по обеспеченной и достаточно прямой линии капиталистического развития до конца девятнадцатого века. Потребности и задачи победоносного капитализма намечались как бы сами собою в ходе его развития. Оставалось только их формулировать, а затем с пером в руке, подобно клерку, подсчитывать выгоды и убытки замышляемых операций. От такого политического метода отклонялись только те, кто становился на дороге безвозбранного победного шествия английского капитализма и империализма. Это были или представители интересов народных масс, порою слишком страдавших под тяжестью триумфа капитала, или же представители наций, угнетенных и порабощенных Великобританской империей. И когда эти деятели вступали на арену политических состязаний, их красноречие теряло типичный английский холодок расчетливой деловитости, проникаясь огнем высоких идеалов и расцвечиваясь

сверкающими красками глубоких переживаний. Таково было красноречие вождя „хлебной лиги“ Кобдена или знаменитого ирландского вождя Парнелля. Но, с ораторской точки зрения, они были исключением. Правилом до конца прошлого столетия оставался „клерк с пером в руке“.

Только под конец девятнадцатого века, когда Англия, подобно всему капиталистическому миру, почувствовала раскаты подземных громов и колебания вековой социальной почвы, в английское спокойно-деловитое красноречие стали проникать взволнованные нервные ноты. Цели и задачи капитализма перестали быть само собою разумеющейся вещью; жизнь и пробуждающееся самосознание трудящихся масс поставили под сомнение весь капиталистический строй. Явилась надобность или в том, чтобы связывать капиталистические цели с высоким идеальным оправданием их или, по крайней мере, прикрывать их мнимым служением народным интересам. Пламя романтики сделалось необходимым для ораторов английской буржуазии. И в последнюю четверть века можно было наблюдать начало новой эволюции английского политического красноречия. Покойный лидер консерваторов Бонар Лоу, и ныне здравствующий либеральный оборотень Ллойд-Джордж наиболее, пожалуй, ярко отразили эту ораторскую эволюцию.

Почти полной противоположностью английскому типу красноречия является красноречие французское. Почти всегда является искушение свести различие этих типов к разнице национальных характеров и темпераментов. Но такое об‘яснение было бы несколько поверхностным. Национальный характер, а в особенности национальный темперамент—не есть величина самостоятельная и неизменная. И то, и другое слагается под давлением условий и свойств общественной жизни народа и меняется вместе с их эволюцией, хотя бы процесс этого изменения и отставал от хода общественного развития. Другими словами, национальный характер и темперамент подлежат об‘яснению при помощи тех же факторов, от которых зависит и преобладающий тип политического красноречия. И ссылка на эти факторы нисколько не противоречит, поэтому, учету национальных особенностей, но прямо или молчаливо включает в себя также и „национальную“ точку зрения.

То, что мы называем французским национальным характером, сложилось веками в огне почти непрерывных политических бурь, войн, междоусобицы, восстаний, переворотов и революций. Можно сказать, что ни одна социально-политическая эпоха не прошла во Франции гладко. Классам, которые являлись носителями интересов и смысла каждой эпохи, приходилось утверждать себя в ожесточенной и непрестанной борьбе с устоями прошлого и с семенами грядущего. Да к тому же приходилось яростно обороняться и от чужеземцев, то пользующихся своим более передовым развитием, как Англия,

то обрушивающих на Францию ненависть инертной отсталости. И капитализм дался французской буржуазии далеко не так легко, как английской. В течение всего, девятнадцатого века ему приходилось напряженно сражаться и против феодальной реакции, и против „четвертого сословия“, т.-е. против пролетариата, разбуженного уже громами Великой Французской Революции.

Борьбою внутреннею и внешнею наполнена вся история Франции,—и напряжение этой борьбы отразилось также и на свойствах французского политического красноречия. Борьба шла не из-за деловых подробностей и расчетов. Ее предметом были основные вопросы общественного строя. Из-за них кипели страсти и строились баррикады. И политическое красноречие должно было, в первую очередь, провозглашать основные лозунги и идеалы, сражаться за утверждение общих политических целей, за признание тех идеалов, которые являются отвлеченными до тех пор, пока победа не облечет их в плоть и кровь жизненной действительности.

Добиться таких результатов при помощи холодноватого делового красноречия трудно, можно даже сказать—невозможно. Ибо здесь речь идет не о том, чтобы связать предлагаемое действие с некоторой уже существующей, уже давно признанной целью; задача гораздо сложнее: надо впервые возбудить или поддержать стремление к той цели, которая при данных общественных условиях является психологически и политически спорной,—и только потом уже показывать пути, ведущие к ней.

Вот почему французское политическое красноречие почти всегда делает центром ораторского выступления провозглашение идеальных истин. Они служат французскому оратору основным и высшим аргументом, на них он стремится сосредоточить психологическое напряжение слушателей, с них он почти неизменно начинает и ими кончает свою речь. Если англичанин аргументирует обыкновенно от практических деталей, то француз пользуется в критические моменты ссылкою на высшие идеалы. Любая французская политическая речь пестрит идеями „родины“, „воли народа“, „прогресса и цивилизации“, „славы“ и т. д. Ибо французское политическое красноречие не считает выдвигаемую им цель чем-то само собою разумеющимся, но стремится обосновать ее при помощи этих общих идей.

Отсюда вытекает и второе свойство французского красноречия: его романтичность, патетический под‘ем, яркая образность. Сила общих идеалов зиждется не на их связи с будничными практическими расчетами, но на лучших порывах и переживаниях человека. Чтобы придать действенную силу идеалу, надо апеллировать именно к этой стороне человеческой психики; надо придать слову ту форму, которая приводит в движение именно эти струны в человеческом сердце. Эти

струны вибрируют в ответ на яркий под'ем, ибо стремление к идеалу само означает высокий под'ем переживаний.

Эти свойства, т. е. идеалистичность (в жизненном, конечно, а не метафизическом смысле) и пафос можно подметить почти у всех без исключения выдающихся французских ораторов, независимо от их политического направления.

Верньо и Мирабо, Дантон и Робеспьер, граф Деказ и Гизо, Тьер и Гамбетта, Лонге и Жорес, Пуанкаре и Бриан, Марти и Кашен—все они являлись и являются типическими представителями отмеченного вида красноречия.

Иногда свойства этого типа красноречия приводят даже к некоторым ораторским злоупотреблениям во Франции. Французские ораторы более, чем какие-либо другие, прячут очень часто нехватку аргументов под громкими фразами и раскатами громового голоса. Когда французу начинает изменять его логика, когда он не находит доказательств или возражений, он спасает положение путем взлета на идеальные вершины и ссылается на „вечные основы права и морали" или на „незыблемые устои человеческой природы". Недаром об одном из лучших французских судебных и политических ораторов Дюпене говорили, что он аргументирует „от славы французского знамени к подлогу стофранкового векселя". Да и в наше время—разве не смешно и позорно слышать, как Пуанкаре доказывает необходимость удушения Германии интересами „права, морали и культуры", или как лидер французского меньшевизма Ренодель проповедует поход против СССР во имя социализма?

Но злоупотребление данным типом красноречия не характеризует, конечно, самый тип. И прегрешения Дюпенов, Пуанкаре и Ренодслей не мешают французскому красноречию быть одним из лучших образцов боевого и возвышенного пути от слова к делу.

3

Сравнение английского красноречия с французским заранее помогает правильно определить тип русского политического красноречия, в частности тип красноречия Великой Октябрьской Революции.

До начала нынешнего века русского политического красноречия почти не существовало. Речи обвиняемых в некоторых политических процессах, дискуссии в женевских и парижских „локалях", выступления на редких с'ездах революционных партий или короткие речи на рабочих массовках и демонстрациях, скомканные и спешные (чтобы успеть до появления жандармов!)—вот все наше ораторское наследство от девятнадцатого века.

Но и в этих обрывках красноречия наметились все же его основные русские черты,—ибо уже тогда были налицо те

условия, которые определяют русский ораторский тип. Уже тогда это было красноречие борьбы за основные социально-политические идеалы.

Формулировка этих идеалов и призыв к ним были основным содержанием зачатков нашего политического красноречия. Пламенный под'ем борца был фактором, обусловливающим ораторскую форму.

Та же задача борьбы за основные позиции определяла свойства нашего политического красноречия и в эпоху первой революции, и в последовавший за нею период реакции, длившийся до 1917 года. Предметом ораторских выступлений поневоле должны были быть не детальные практические вопросы, но общие политические положения, за которые приходилось сражаться.

Надо было установить и обосновывать основные и первоначальные политические цели. Надо было подводить базу под них и притом такую базу, которая могла бы зажечь слушателей огнем борьбы. Идеал и пафос должны были проникать речь русского политического оратора.

Но борьба шла не просто за идеалы; это была борьба за разные идеалы, каждый из которых указывал другую жизненную цель. Боролись между собою не просто народные интересы со своекорыстным самодержавием. Борьба шла между самодержавно-помещичьей стариной, буржуазными вздыханиями по конституционной демократии и пролетарским лозунгом социализма. Одни опирались при этом на историческую инертность и религиозные суеверия, другие—на общие формулы политической метафизики, третьи—на пробуждение классового самосознания трудящихся.

В связи с этим общие свойства русского политического красноречия модифицировались, смотря по социально-политической, классовой оппозиции оратора.

Главной опорой реакции была инертность и физическая сила государственного аппарата. И то, и другое—прекрасный жизненный аргумент, но этим аргументом нельзя оперировать в ораторских выступлениях. Он не только обладает логической и психологической слабостью, но даже более того: обнаженное изображение такой опоры проявляет внутреннюю слабость позиции, настраивает слушателей враждебно. Реальная политическая сила исторической инерции должна в политическом красноречии являться под каким-либо приличным прикрытием. Поскольку эта сила является „исторической“, постольку одним из лучших для нее прикрытий служат „исторические задачи“, т. е. обыкновенно—игра на шовинизме, расовом национализме и т. п.; поскольку же эта сила сводится к инерции, постольку она легко может прятаться за идею непрерывного и спокойного изложения очередной текущей государственной работы, т. е. за деловые соображения.

И, действительно, ораторы русской реакции прибегали в подавляющем большинстве случаев к одному из этих прикрытий. Ораторы „общественные“, т. е. содержимые не на явном жаловании, а на тайных субсидиях, агенты самодержавия избирали своим инструментом „исторические“ и „национальные“ вопросы; ораторы официальные, т. е. царские министры думской эпохи, старались щегольнуть деловитостью. В обоих случаях обще-русские свойства политического красноречия претерпевали некоторые, хоть и частичные, но все же довольно существенные видоизменения.

У „общественных“ ораторов самодержавия идеалистичность речи приобретала негативный характер. Играя на национальных мотивах, они стремились направить внимание и активность масс не против подлинного, а против мнимого врага. В этом—сущность всякого зоологического национализма. Их задачей было поэтому не указание положительных творческих идеалов, а размалевывание отрицательных „идеалов“, подлежащих уничтожению вследствие своей отрицательности; они должны были показывать не бога, но чорта; не то, что надо строить, но то, что надо разрушать. В полном согласии с этим, их пафос преломлялся в истерику ненависти.

Не следует думать, что истеричность реакционных ораторов была индивидуальным свойством Пуришкевича и об‘яснялась его душевною ненормальностью. Абсолютно нормальный Марков 2-й был в своих выступлениях ничуть не менее истеричен, и голос его дрожал от хорошо подделанного мистического ужаса, когда он произносил слово „еврей“. Такими же истериками были Шмаков, Бобринский, Замысловский, монах Иллиодор.

Их истеричность была явлением, совершенно необходимым с точки зрения ораторской техники, и потому—тот, кто не имел истерии от природы, актерствовал под истерика на своей трибуне. Дело в том, что пафос не есть свойство только лишь интонации и подбора слов или их расположения. Пафос есть двойное ораторское свойство, присущее одновременно и форме, и содержанию; в пафосе возвышенное слово облекает собою величие тех идей, о которых оно говорит. И когда этого соответствия между внешним и внутренним пафосом нет и быть по существу дела не может, тогда высокий тон и громкие слова превращаются в простые истерические выкрики.

Таковы были отклонения от „нормального“ нашего ораторского типа у „общественных“ ораторов реакции.

Отклонения в обратную сторону были свойственны ораторам официальным. Они играли на „инерции“, они должны были, поэтому, инертно выдвигать будничные деловые цели, как будто ничего особенного не случилось, как будто попрежнему перед страною встают только очередные задачи

текущей практики. Но так как и им нужен был идеал, то они стремились превратить в идеал деловитость, служение маленьким и безопасным проблемам дня. Они не были, конечно, деловыми ораторами в английском смысле. Ибо ничего менее делового, чем их планы и методы, придумать было нельзя. Их деловитость была только внешним, техническим приемом. Ее призывали на помощь в тех случаях, в каких французские министры любят прибегать к „гуманности и цивилизации" или к „славе французских знамен". Ею и злоупотребляли так же часто, как часто французы злоупотребляют своими высокими словами. Но все же принцип деловитости обязывал. Если не на деле, то хотя бы на показных словах надо было притворяться деловыми людьми,—и это достигалось путем идеализации текущих чисто практических мелких вопросов. Какое-нибудь расширение штатов главного управления государственного коннозаводства делалось в устах официальных ораторов реакции высшей заповедью бытия, перед которою должны склониться все без исключения потребности страны и желания народа. Отдельные деловые вопросы не просто идеализировались, а даже как бы обоготворялись. Идеалистичность царских министров в их публичных ораторских выступлениях сводилась поэтому к лицемерной идеализации мелких дел и вопросов. Их идеалистичность освещалась не идеалами, а превращенными сознательно в фетишей ничтожными мелочами. Как дикарь способен сделать себе фетиш из осколка стекла, из гладкого корешка или из глиняной трубки,—так и сановные ораторы реакции создавали идолов из бюрократической трухи.

Если вспомнить речи Коковцева, Щегловитова, Акимова и других героев бюрократического красноречия—то этот лицемерный фетишизм, подставляемый на место идеализма, резко бросается в глаза. Пожалуй, только один Столыпин был оратором на несколько иной манер. У него идеалистичность скорее приближалась к типу, свойственному „общественным" ораторам черной сотни, чем к тому типу, который был характерен для представителей правящей бюрократии. Это об'яснялось, вероятно, тем, что Столыпин был наименее чиновником и бюрократом среди всех сановников царского режима; он не успел еще насквозь проникнуться духом министерских канцелярий, и ему не чужд был налет демагогической черносотенной „общественности".

Такова была „идеалистичность" реакционных ораторов из правительственных кругов. Не менее своеобразен был и их пафос.

Это был не пафос борьбы, но скорее—пафос чванной самоуверенности. Высокие ноты звучали в речах царских министров не тогда, когда они сражались ради какой-либо цели,—но тогда, когда они хвалились заранее обеспеченной

победой. Это вполне понятно: все цели интересовали их очень мало, кроме одной, т. е. кроме цели удержать свою гниющую власть. И потому их ораторское искусство подымалось на вершины воодушевления лишь тогда, если речь шла именно о сохранении этой власти. Но в этом пункте они лелеяли самонадеянную уверенность, что виселицы и штыки обеспечивают их от всех опасностей, и что им остается лишь издеваться с высоты своего подавляющего превосходства над всеми покушениями опрокинуть или поколебать их власть. И если не всегда эта уверенность была искренной, то, во всяком случае, официальная идеология требовала, чтобы такая уверенность всегда показывалась и выставлялась на показ. И, в сущности, пафос министерских речей думского периода сводился к пафосу такого издевательства. Недаром самыми патетическими министерскими изречениями нашей „конституционной" эпохи были столыпинское „не запугаете!" и макаровское „так было, так будет!"

С этим министерским красноречием соперничало в думский период красноречие кадетское. Этот тип красноречия очень близко подходил к французской ораторской манере, но все же с некоторыми своими специфическими особенностями, которые дали иностранцам повод обвинять русских ораторов в пустозвонстве.

Действительно, густой налет пустословия является типическою чертою ораторов думской буржуазной оппозиции.

Причина была, конечно, не в личных свойствах кадетских ораторов. Напротив, выдающиеся ораторские таланты некоторых из них прикрывали блеском формы это печальное свойство их речей. Причина коренилась глубже—в социально-политической позиции нашего либерализма.

Русская буржуазия вышла на открытую общественно-политическую арену в момент, неизмеримо менее благоприятный, чем ее западные сестры. Она вступила в борьбу не как класс, обладающий гегемонией, не как класс, медленно поспешающий в хвосте далеко опередивших его социальных сил. Когда начала развертываться открытая политическая борьба в России, русский пролетариат был гораздо более организованным, более сильным и даже, может быть, более сознательным классом, чем буржуазия. Если на Западе в эпохи первых буржуазных революций рабочий класс шел на поводу у либерализма и верил, что конституция, республика, парламентаризм или иные более или менее конкретные идеалы, выдвигаемые буржуазией, принесут ему полное избавление,— то русский пролетариат на такой очерствевшей мякине провести было нельзя. Он знал, что конкретная буржуазная программа, даже самая демократическая, обещает ему очень мало или, вообще, ничего. На такой обман он не поддавался.

Но буржуазии все же нужен был хоть какой-нибудь обман. Ибо ей надо было не лишаться поддержки рабочего класса и в то же время не допускать его перейти за „благоразумные“ границы. И так как своими конкретными идеалами она не могла привлечь к себе пролетарские сердца, то она старалась облечь свои классовые цели в туман таких общих слов, отвлеченность которых позволяла бы предполагать самые революционные идеалы. Правда, пролетариат не пошел и на эту приманку. Но на кадетское красноречие эта попытка обмана наложила свой отпечаток. Оно стало красноречием крайне отвлеченных понятий, крайне туманных слов, крайне обобщенных выражений. Оно боялось выдать себя чрезмерной конкретностью, ибо все еще не теряло надежды повести за собою народные массы. И, убегая от конкретности, оно расплывалось в бесформенных, хотя и красивых словесных арабесках.

Тою же бесформенностью, что и кадетская идеалистичность, страдал также кадетский пафос. И страдал по той же причине. Звали ли кадетские ораторы к борьбе? Конечно, в их речах часто звучало и на все лады склонялось это слово. Но оно было не более, чем звук пустой. Ибо внутренняя логика кадетских речей в корне ему противоречила. Звать на борьбу—это значило звать рабочие и крестьянские массы. Но либеральная буржуазия боялась и ненавидела эти массы не меньше, если не больше, чем царский режим. И потому не к ним она в своих речах обращалась. Она обращалась к тому же царизму, против которого своими речами „боролась“, стращая его революцией, в которой видела не только царского, но и своего врага; и вызывая призрак этого врага, она взывала к благоразумию самодержавия, заклинала, увещевала и умоляла его. Его пафос приобретал поэтому любопытнейший и своеобразнейший оттенок. Это был пафос воссылающего мольбу отчаяния. Либеральная буржуазия достаточно умна, чтобы видеть приближение революционной бури, и достаточно умна, чтобы заранее эту революцию ненавидеть. Она понимала, что ее спасение лишь в мирной сделке с самодержавием, но в то же время понимала, что бессмысленное и тупое самодержавие на эту сделку не пойдет. Отюда рождалось ее отчаяние. И отсюда рождалось отчетливое сознание, что все ее старания и все ее прекрасные речи пропадают втуне. Ей некуда было по настоящему обратить свой ораторский пафос: народа она боялась, на самодержавие она не надеялась. И пафос терялся в пространстве. Делаясь беспредметным, он уподоблялся гласу вопиющего в пустыне. Это обрекало его на внутреннюю пустоту, скрываемую лишь изысканною красотою формы.

Кадетское красноречие было не только практически бесплодным, но и с ораторской точки зрения—безнадежно пустым.

В гораздо более выгодном положении находилось красноречие революционных партий. Их ораторов также обвиняли в отвлеченности, но это была отвлеченность мнимая. Вполне естественно и закономерно они не обращали большого внимания на маленькие вопросы текущей повседневности, ибо в центре борьбы, подавляя все остальное, стоял один главный и основной вопрос: вопрос революции. Он был главной, хотя бы и скрытой темой речей революционных ораторов. Их идеалы были поэтому вполне определенными. Если самоуверенным бюрократам или всезнающим кадетским профессорам эти идеалы и казались отвлеченными, то зато рабочие и крестьянские массы прекрасно понимали весь конкретный живой смысл их. И именно к массам обращались такие речи. И их задача была не столько в том, чтобы искусно поддеть противника или щегольнуть конституционной ученостью, сколько в том, чтобы соблюсти правильный и ведержанный подход к своей теме. Эти речи должны были служить орудием воспитания масс; надо было тщательно заботиться, чтобы в них не искривлялась та идеологическая линия, по которой необходимо было тщательно вести это воспитание. Речи могли, поэтому, показаться иногда суховатыми, но зато они делали свое дело.

В речах революционных ораторов идеал и борьба за него занимали, в связи с задачами этих речей, центральное место. Но это не были расплывчатые и уклончивые кадетские идеалы; это не были и выветрившиеся условности французского красноречия. Это были идеалы высокие, но точные и живые.

Их точность придавала революционному красноречию гораздо меньше внешней цветистости, чем свойственно хотя бы французскому ораторскому стилю. На канве „гуманности", „славы" или „морали" можно вышить гораздо более яркие узоры, чем на основе, сотканной из революции, социализма и классовой борьбы. Чем общее понятие, тем больше словесного разнообразия можно влить в его рамки. Чем оно теснее, тем ограниченнее вмещающийся в него запас словесных цветов.

Вот почему идеалистичность революционного красноречия вела к последствиям иным, чем идеалистичность красноречия кадетского. Она вела не к ущербу для реального содержания, но наоборот—к наполнению речи отвечающим цели содержанием, к последовательной выдержанности ораторской конструкции.

Идеализм революционного красноречия был идеализмом реалистическим.

Реалистическим был и пафос речей революционных ораторов. Это был пафос борьбы, прекрасно знающий, с кем и против кого борьба. И потому он сказывался не столько в форме речи, сколько в ее содержании. Пафос был в напряжении самой борьбы, затрачивался именно на нее.

Ораторская форма только отражала эту боевую действительность и невольно бледнела пред ее размахом. На слушателя действовала патетическая сила не столько слов, сколько тех фактов, о которых говорили слова. Форма не преобладала над содержанием, но или уступала ему, или в лучшем, с ораторской точки зрения, случае гармонировала с ним.

Эти свойства—свойства реалистичности и в идеализме, и в пафосе—были характерными для революционного красноречия до 1917 года. Конечно, не у всех представителей революционного красноречия они проявлялись в полном виде. Иногда даже они тускнели и отступали перед типичными кадетскими чертами, заражавшими тех, кто считал себя до глубины души революционерами. Так, например, еще в Государственной думе речи Керенского не имели ни малейшего признака специфического революционного красноречия, — ибо нельзя же было считать такими признаками фиоритуры на высоких интонациях или цветистые слова, в жижице которых совершенно растворялась всякая определенность. Да и вообще можно сказать, что, за немногими исключениями, эсэровское красноречие гораздо ближе подходило к кадетскому типу, чем к тому революционному красноречию, представителями которого были марксистские ораторы. Это было естественно и неизбежно, ибо внешняя идеология эсэров не гармонировала с их действительной классовой позицией; их социалим плохо вязался с их мелко-буржуазностью; отсутствие увязки приводило к расплывчатости той формы, в которую втискивалось классовое содержание эсэровства.

Особенно резко это проявилось в 1917 году, когда эсэровское и кадетское красноречие совершенно отожествилось с ораторской точки зрения. Идеалистичность речи и у одних, и у других сделалась до последней степени отвлеченной,— ибо и те, и другие чувствовали, что массы шагают вперед через их действительные идеалы. А пафос и у одних, и у других по той же самой причине превратился в пафос отчаяния.

По мере развития февральской революции, по мере приближения ее к Октябрю с этим кадетско-эсэровским красноречием все больше и больше сближалось и красноречие меньшевистское. Но оно все же продолжало хранить до конца или вернее—почти до самого конца внешние черты революционного ораторского стиля, ибо старая марксистская закваска давала себя чувствовать еще долго после того, как совершился отказ от марксизма в мировоззрении и политике.

1917 год внес в русское политическое красноречие и другие чрезвычайно интересные черты. Но о них надо говорить в связи со вторым фактором, определяющим природу политического красноречия: в связи с вопросом о том, к кому обращается оратор.

4

Существует мнение, что политический оратор, всегда обращается к массам. Еще Консидеран и Бонжамен Констан уверждали, что где бы и когда бы политический оратор ни выступал, речь его всегда имеет в виду не его непосредственных действительных слушателей, но его слушателей „потенциальных“, т. е. народные массы, до которых эта речь может и должна дойти. С этой точки зрения политический оратор говорит всегда не для слушателей, а через их головы для „народа“.

В этом чрезвычайно распространенном взгляде есть две ошибки.

Во-первых, никогда и ни при каких условиях оратор не может отрешиться от внимания к своей непосредственной ауидитории. Если даже его речь предназначена по существу совсем для других слушателей (или читателей), то все же выбор формы и тон речи бессознательно приспособляются к аудитории наличной. Эта непосредственная аудитория всегда служит тою наковальней, на которой ораторский молот кует свою речь. И хотя бы попытка убедить ее, воздействовать на нее была явно безнадежной, оратор говорит так, как если бы в нем жили твердые надежды на непосредственный результат его аргументации. Ибо в этом—природа психологии красноречия. Оно обращается к людям, находящимся перед оратором „в натуральную величину“. И даже, когда такое обращение не имеет никакого практического смысла, оно обусловливает все же в значительной мере характер произносимых слов. Если не будет этого момента обращения к живым слушателям, то не будет и ораторской речи. То, что будет тогда произноситься, может быть монологом, декларацией в устной форме, статьей, произносимой вслух,—но не речью. Ибо отличительный признак речи не в изустности ее произнесения, но в определенных формах ее строения. Это те формы, которые обусловливаются непосредственным обращением к живым слушателям.

Вот почему говорить только „через головы слушателей“ нельзя. Можно говорить и перед слушателями, и через головы слушателей. Но это уже другое дело, ибо тогда характер речи будет определяться не только отсутствующей, но и присутствующей аудиторией. Это надо твердо помнить, ибо, только учитывая такой двойственный фактор, можно понять многие типические черты разных видов политического красноречия. Только при помощи такого учета можно, например, полностью понять, с ораторской точки зрения, речь Троцкого на суде первого Совета Рабочих Депутатов.

В критикуемом взгляде есть и вторая ошибка. Политический оратор действительно почти всегда обращается не только

к своей непосредственной аудитори, но и к более широким массам. Однако, пределы и социальная природа этих масс бывают далеко не одинаковы,—а от этого снова зависит характер красноречия.

На Генуэзской конференции и Ллойд-Джордж, и Барту, и Чичерин, и Раковский обращались, конечно, не только к своим непосредственным слушателям, но еще, кроме того, и к массам. Однако, массы Ллойд-Джорджа и массы Чичерина были совершенно различны,—и оттого речи одного и речи другого различались существенно и резко глубоким внутренним несходством.

Таким образом, надо сказать, что политический оратор обращается к двум аудиториям: непосредственной и более далекой; природа обеих аудиторий и политико-психологическая пропорция между ними обусловливают при этом существенные свойства красноречия.

Если обе аудитории однородны, речь оратора приобретает большую свободу и легкость. Ему не приходится тогда лавировать между двумя различными задачами; то, что действует на непосредственно перед ним находящихся слушающих его людей, то пригодно и для его более отдаленных слушателей. Форма речи, обусловленная обращением к живому человеческому слуху, не должна корректироваться посторонними соображениями. Благодаря этому, речь получает естественность и силу непосредственной импровизации; ее строение делается живым и простым, ее слова приобретают отпечаток неподдельной искренности.

Наоборот, разнородность аудитории вносит разлад в характер ораторской речи. Тогда две разные задачи стоят перед оратором, и необходимость отыскивать правильную диагональ между ними лишает речь непосредственной свободы, а порою делает ее даже натянутой. А неизбежная иногда попытка скрыть двойственность ораторской задачи приводит к фальшивым театральным тонам.

Типическим образом таких ораторских извращений может служить римское красноречие эпохи упадка республики, в частности красноречие величайшего из римских ораторов—Цицерона.

Непосредственной аудиторией Цицерона в подавляющем большинстве случаев были народные собрания. Но народные массы играли в тогдашней римской политике своеобразную роль. Формально они правили государством, от них исходили верховные решения. Но фактически вся власть принадлежала кучке аристократических семейств и группе разбогатевших откупщиков и банкиров. От них зависели не только действия правительства (т. е. римских магистратов), не только эффектные и громкие постановления Сената, но и решения народных собраний. Подкупленные агенты и подкупленная дешевым

угощением толпа выносила решения, продиктованные верхами. Народные собрания превратились в откровенную комедию, а народные массы в статистов этого политического представления. В соответствии с этим и речи ораторов на народных собраниях по внешности обращались к массам, а на деле — к немногим заправилам римской политики. Для масс, в особенности для начавшего заполнять народные собрания деклассированного люмпен-пролетариата эти речи, с точки зрения их смысла и содержания, были мало интересны. Их интересовало ожидаемое угощение, да обещанная или уже состоявшаяся раздача серебряной мелочи. А ораторские красоты консулов и трибунов были для них лишь чем-то вроде спектакля, развлекающего зрелища. Форма речей ораторов приспособлялась к этому положению вещей. Для главных слушателей, все равно присутствовали они или не присутствовали на собрании, оратор предназначал внутреннюю логику своих аргументов; для толпы, жаждавшей хлеба и зрелищ, он облекал свое выступление в эффектные театральные формы.

Он говорил так, как говорили в античных трагедиях герои. Точно со сцены, ходульно и искусственно приподнято звучала его речь. Нам бы, конечно, не понравилась такая речь; но, ведь, едва ли нам понравился бы и античный театр, не модернизированный, стилизованный и подкрашенный, а подлинный и натуральный, построенный на ходульных условностях. Тогда нравилось и то, и другое. И речь оратора стремилась как можно больше походить на возвышенный трагический монолог актера.

Именно таково было красноречие Цицерона. И как раз потому, что он был в своих речах великим актером, он и был в условиях пред-императорского Рима великим оратором.

С нашей же точки зрения, его ораторский дефект заключался в том, что форма его речи была предназначена для более широкой аудитории, чем ее содержание.

Подобный же дефект часто наблюдается и в наше время, хотя теперь он преломляется не столько в суховатой театральности, как у Цицерона, сколько в тех свойствах речи, из-за которых мы называем ее митинговою. Эта „митинговость“ в большинстве случаев происходит оттого, что оратор, обращая свою речь к небольшому кругу слушателей, придает ей такую форму, как если бы она произносилась перед многотысячной разношерстной толпой. Форма тогда нередко с‘едает содержание, хотя бы последнее и было даже на высоте своей задачи. И отсутствие пропорции между формой и содержанием губит и то, и другое.

По существу, обратное отношение между формой и содержанием также является с ораторской точки зрения дефектом. Нарушение пропорции есть, ведь, налицо и тогда, когда

содержание значительно шире формы или когда оно имеет в виду гораздо более широкий круг слушателей, чем слова, его облекающие. Однако, в этих случаях мы, по большей части, склонны прощать оратору его грех как бы в виде награды за „содержательность“ его речи. Но это прощение— неискренное и несправедливое. Вольная или невольная депрессия формы ради содержания есть ораторская кастрация. И на слушателях она всегда отзывается скукой, потерей внимания, неполнотою и недостаточной живостью восприятия. С точки зрения „содержательности“ такая речь может быть высоко научной, ценной, полезной, значительной и т. п.—но с ораторской точки зрения она—незаконное детище, ублюдок.

Этою ублюдочностью страдали неизменно думские речи революционных ораторов. Обращаясь по существу к массам, их речи по форме вынуждены были приспособляться к обстановке цензовой кадетской или октябристской думы. Настроения, рассчитанные на широкое массовое действие, должны были облекаться в сухие и скудные слова, приемлемые для думского слуха. Ораторские крылья были обрезаны, и революционные ораторы, независимо от своих индивидуальных дарований, неизбежно уступали пальму риторического первенства Маклаковым, Гучковым и Шульгиным, находившимся в своей стихии.

Прямо противоположное явление можно было наблюдать в 1917 году.

На первый взгляд тогда казалось удивительным, как побледнели красоты многих и многих ораторов, бывших в эпоху реакции „любимцами публики“, и как „неожиданно“ выдвинулись не внешним только успехом, а внутренними ораторскими достоинствами ораторы, бывшие до сих пор в тени. По существу—ничего удивительного в этом не было. Переменились роли. Одни попали в ту обстановку, которая как раз соответствовала их ораторским задачам, а другие из собственной стихии оказались перенесенными не в свою тарелку.

Февральская революция превратила всякую аудиторию в массовую. Громаднейшее большинство речей произносилось не только для масс, но и перед непосредственною массовою аудиториею. Но даже те публичные речи, которые произносились пред ограниченным кругом слушателей, должны были в первую очередь считаться с их последующим действием на массы.

Между тем, ни буржуазные, ни мелко-буржуазные ораторы ничего или почти ничего не могли сказать массам. Их лозунги, их призывы были об‘ективно предназначены не для широких народных масс, не для проснувшегося крестьянства и не для быстро проникавшегося отчетливым классовым самосознанием пролетариата. Их речи имели смысл для буржуа и для обывателей. Это была их подлинная аудитория с об‘ективной точки зрения.

Правда, многие из них искренно думали, что они служат массам. Правда, почти все они старались найти путь к сознанию и чувству масс. Но такая суб'ективная позиция не меняла реального положения вещей. Как ни старались они говорить на языке масс, они не могли найти в себе этот язык, ибо их позиции были не с массами, но против масс.

Сначала, пока политические настроения и политическое самосознание масс еще не прояснилось и не оформилось, это не было заметно. И в первые месяцы февральского периода революции ораторы сознательной и бессознательной контр-революции были на большой высоте и с точки зрения своего влияния, и с точки зрения своих внутренних достоинств. Церетелли, Авксентьев, Некрасов и Керенский были в первых ораторских рядах. Даже Родзянко, раз'езжавший по фронтам, не всегда бывал неудачен.

Но очень быстро положение изменилось. Массы отошли от мелко-буржуазных „вождей", не говоря уже о представителях крупной буржуазии. Кадетские, эсэровские и меньшевистские ораторы продолжали взывать к массам и говорить перед ними, но их слова обращались к интересам буржуазных общественных групп. Аудитория, для которой их речи имели ценность, была намного уже непосредственной аудитории.

Отсюда рождались коренные ораторские дефекты. Речи ораторов имели громадный словесный размах, не соответствующий их внутреннему содержанию. Это была натянутая напыщенность, особенно ярко проявившаяся у Керенского. Мало того: ораторы старались увлечь массу тем, что было ей чуждо; в результате лозунги их звучали или как ходульно-условные, или как демагогические в худшем смысле слова. Ходульной условностью отличались по преимуществу речи меньшевиков, демагогия была специальностью, главным образом, эсэров. Наконец, давало себя чувствовать и отсутствие психологической связи с массовой аудиторией. Не будучи в состоянии создать эту связь существом своего красноречия, ораторы контр-революции пытались заткнуть дыру при помощи чисто-внешних эффектов. Они злоупотребляли повышенной интонацией, темпераментной жестикуляцией, лирическими излияниями, патологическими выкриками. Эти качества речи опять-таки наиболее ярко проявились у излюбленного оратора февральского периода, т. е. у Керенского. Не даром его превозносили до небес все слуги контр-революции. В нем воплотились, как в фокусе, все доступные для контр-революционного оратора средства и возможности. И если средства и возможности Керенского сводились в конечном счете к историческому паясничеству,—то ведь это—потому, что в руках контр-революции не оставалось больше никаких средств воздействия на массы. Впрочем, не помогли и эти средства...

Подобными ораторскими извращениями полны речи 1917 г.

И только Октябрьская революция окончательно разбила оковы, угнетавшие политическое красноречие. Она открыла дорогу для безвозбранного расцвета той речи, которая и по существу, и по форме предназначена для масс и к ним обращается, т. е. для той речи, в которой форма и содержание вполне адекватны по своему смыслу и назначению.

5

Кроме формы и содержания речи, качества ее зависят еще от одного фактора: от того, какими средствами она пользуется для достижения желательного результата.

Выше было сказано, что политическое красноречие пользуется, в качестве средства, изображением тех предметов, связь которых имеет политическое значение.

Но такая связь может быть двоякого рода. Эти два рода связи можно было бы назвать „телеологическим" и „причинным" типом связи.

Можно изображать те предметы и события, которые указывают определенную цель политических действий и пути, ведущие к ней. Это будет „телеологическое" построение речи. Но можно и рисовать такие факты, все равно—прошлые, настоящие или будущие, которые толкают человека на известные поступки *не для того, чтобы* достичь какой либо цели, но *потому, что* они порождают в нем неудержимые активные рефлексы, порождают то, что интеллигентская терминология иногда называет свысока стихийной ненавистью, яростью толпы или ее слепым воодушевлением, ее опьянением в порыве боя и т. д.

Классическим примером противопоставления этих двух типов ораторской „связи" может служить ораторский поединок между Брутом и Антонием в шекспировском „Юлии Цезаре". Брут „действует на разум"; он указывает слушающей его толпе определенную цель — сохранение старинного республиканского порядка; он утверждает, что убитый заговорщиками Цезарь стоял на пути к этой цели, и делает отсюда „телеологический" вывод, что необходимо было устранить тирана, и что народные массы должны пойти за партией заговорщиков, дабы восстановить закон и древнюю „свободу". Антоний, наоборот, хитро и осторожно избегает говорить о целях. Он „действует на чувство"; он рисует величие Цезаря и свершенных им дел, оживляет в душе толпы ее недавнее преклонение перед героем, пробуждает в ней негодование против его убийц и тем самым побуждает слушателей к действиям, необходимым и выгодным для представляемой им партии. Первый аргументировал при помощи „для того, чтобы", второй—при помощи „потому что". Первый ставил цели для действий, второй создавал для них психологические причины.

Каждый из этих двух типов ораторской „связи" редко проявляется в чистом виде. Обыкновенно налицо бывает та или иная комбинация из обоих. Но порою преобладание одного из них над другим бывает столь сильно, что можно говорить о почти совершенно „чистом" выражении именно этого типа связи. Так, например, Робеспьер во французской революции и Ленин в русской чрезвычайно близко подходили к „чистому" целевому типу ораторской связи; наоборот, Дантон на улицах Парижа и Володарский на берегах Невы в подавляющем большинстве случаев строили свои речи по типу „потому что".

В „хорошем обществе" принято несколько свысока относиться к причинному типу ораторской связи. Принято утверждать, что это—демагогия, „играющая на низменных инстинктах масс". Трудно придумать более ошибочный взгляд.

Сущность демагогии—не в том, что она расковывает стихийные чувства толпы. Ее сущность — в том, что она направляет по политическому руслу неполитические стихийные рефлексы. Она пользуется для политических целей неполитическими средствами. В этом — ее неискренняя, обманная природа. Ради своих корыстных расчетов демагог старается разбудить в слушателях первобытную жажду крови, как делали погромные проповедники царских времен, или страстное желание спокойного обеспеченного быта, который обещали массам контр-революционные ораторы 1917 года. Здесь—ораторская связь не соответствует действительной жизненной связи, и в этом то и кроется демагогический обман.

Но когда политическое действие основывается на политических же переживаниях, хотя бы они были „инстинктами", „страстями" или даже „психозами", тогда демагогии нет. Тогда перед нами законный и необходимый ораторский метод, ибо ораторская связь совпадает с правдивою связью событий.

Такая мнимая демагогия бывает по большей части совершенно необходимой для массового оратора. Только перед очень высоко воспитанными в политическом отношении массами можно говорить лишь о целях; только при большом развитии чисто-социальных рефлексов в массовой психике можно зажечь толпу одною „телеологиею". Но такую массовую аудиторию вряд ли можно где-нибудь найти. В условиях современной общественно-политической жизни массовая аудитория бывает или политически мало развитой, или—в лучшем случае—стоящей на среднем уровне развития. „Действовать только на разум" этой аудитории—значит рисковать бесплодностью своей речи. Только такие гиганты политической мысли, как Ленин, могли итти довольно часто на подобный риск. Для других ораторов такой риск—непозволителен. Ибо политическое красноречие должно приводить к политическим действиям, и политический оратор не имеет никакого права ждать, пока массы

достигнут такого высокого уровня сознательности и общественной дисциплины, что для них достаточна будет аргументация чистой цели.

Массовый политический оратор должен, поэтому, комбинировать в своей речи оба типа связи. Пропорция между ними определяется степенью политического воспитания масс. Чем массы сознательнее, тем больше должен преобладать тип „телеологический"; наоборот, чем ниже их уровень, тем большую роль должна играть связь „причинная".

Удержать в своей речи правильную пропорцию между двумя „связями"—одна из важнейших задач массового оратора. Нарушение этой пропорции может значительно ослабить действенную силу речи и даже совершенно ее парализовать. Подчеркнутая „телеологичность" речи, произносимой перед мало развитой аудиторией, грозит сделать речь непонятной и психологически чуждой слушателям. Точно также излишнее насыщение речи „причинными" аргументами и приемами, когда уровень аудитории достаточно высокий, легко может сделать речь в глазах слушателей пустою и бессодержательною, разочаровать их ожидания и обесплодить все значение ораторского выступления.

Само собою разумеется, что уровень аудитории должен при этом пониматься не как некоторая постоянная величина даже для данной постоянной аудитории. При одних вопросах слушатели могут считаться достаточно подготовленными, при других—те же самые слушатели должны рассматриваться, как сырая и мягкая глина.

Наконец, степень политической напряженности переживаемого момента должна также приниматься в расчет. Когда в силу грозных и значительных событий ярко пробуждается политический темперамент масс, тогда — даже сравнительно мало осознаваемая ими цель может легко зажечь их, если только они инстинктивно чувствуют близость этой цели их чаяниям и воле.

Все эти разнообразные моменты обусловливают характер требуемой пропорции между „телеологическою" и „причинною" ораторскими связями. Учесть их—одна из высших задач и одно из высших качеств подлинного ораторского искусства.

Но для правильного учета и для осуществления его—мало одного доброго желания оратора, мало его опытности и таланта. Для этого нужны еще и некоторые об'ективные предпосылки. Нужно, чтобы социально-политическая позиция оратора позволяла ему в должной пропорции выдвигать перед массами определенные цели и показывать им факты, действующие в качестве причины. Если цели, преследуемые оратором, по существу чужды массам, то все его ораторское искусство ему не поможет; он не решится делать на этих целях требуемое должной пропорцией ударение, но постарается укрыть

эти цели на высотах отвлеченности, а вместо того—перенести центр тяжести в ораторское „потому что“. Наоборот, если факты, возбуждающие в данный период политические рефлексы масс, невыгодны для представляемого оратором класса, то он будет отмахиваться всеми силами от „причинного“ типа речи, будет взывать к спокойному „разуму“ слушателей, будет развивать перед ними соображения целесообразности.

Эта ораторская трагедия особенно явственно проявлялась в 1917 году у Керенского. Он постоянно ссылался на свои „революционные заслуги“, на „доверие демократии, которым он облечен“, грозил „железом и кровью“ и т. п., когда массы требовали, чтобы им показали ясную, определенную и близкую для них цель. А с другой стороны, он кричал о целях государственности, демократии, законности тем массам, которым надо было рассказать о происках империализма и контр-революционной буржуазии, чтобы пробудить в них негодование и волю к действию для борьбы за свои интересы.

Это было неизбежно, ибо ничего другого ораторы, стоявшие на классовой позиции, представлявшейся Керенским, дать не могли.

Для политического красноречия нужны не только суб‘ективные, но и об‘ективные предпосылки. Не только талант оратора, но и совпадение его позиции с положением и интересами того класса, который является в данный момент решающей аудиторией для всех ораторских выступлений.

6

Такие об‘ективные предпосылки для подлинного расцвета политического красноречия наших дней были созданы Великой Октябрьской революцией.

Это нетрудно показать в отношении всех трех признаков, обусловливающих формы и свойства политического красноречия.

Первый из этих признаков, как указано было выше, преломляется в нашем красноречии в формах „идеалистичности“ и „пафоса“.

И действительно, речи ораторов Октябрьской революции всегда насыщены призывом к идеалу. Но их идеал — это не расплывчатые и отвлеченные моральные принципы, не театрально-общие громкие слова, не пелена, прикрывающая бедность конкретного смысла. Это живой и реальный идеал определенной и исторически оправданной классовой цели, идеал, теснейшим образом связанный с самыми детальными вопросами конкретной действительности, ибо он об‘ясняет, связывает вместе и разрешает их. Это — не риторическая фигура, но практический критерий, компас, направляющий путь.

„Идеалистичность“ октябрьских ораторов есть, поэтому, не что иное, как целостность и последовательность представляемого ими классового мировоззрения, отдельные частности

которого связаны в одну монолитную глыбу постоянством и единством основной решающей цели.

Вот почему в этой идеалистичности нет ничего безжизненного и отвлеченного. Она полна живого и конкретного смысла.

Если обратиться теперь к вопросу о „пафосе“, то и здесь окажется, что красноречие ораторов Октябрьской революции проникнуто глубокой жизненностью и реализмом.

Это пафос борьбы. И при этом он посвящен борьбе необходимой и неизбежной. Он обращается к тем, кто именно должен и может вести эту борьбу и довести ее до конца. Он совпадает с об‘ективным положением вещей.

Этот пафос не извращается, поэтому, ни в театрально-ходульных фиоритурах, ни в повышенных выкриках. Он является одновременно и пафосом слова, и пафосом мысли. Больше того: этот пафос присущ самой действительности, о которой говорит и с которой оперирует и Октябрьская революция, и ее красноречие. Это пафос не столько самого красноречия, сколько того дела, к которому оно зовет. Вот почему, например, могут быть названы высоко патетическими речи покойного Свердлова, ибо хотя слова его были всегда просты и безыскусственны, но за каждым из них чувствовалось напряженное дело, в которое Свердлов влагал всю свою душу. Именно это высокое напряжение духа и является истинным пафосом.

Форма и содержание делаются при таких условиях вполне адекватными друг другу.

Та же адекватность присуща октябрьскому красноречию и в вопросе о соотношении его с аудиторией.

Речи ораторов Октябрьской революции не только всегда обращаются к массам, массы являются также и непосредственной аудиторией. Темы речей—вопросы, близко касающиеся живых интересов масс. Цель речей—служение именно этим интересам. Нет разрыва между содержанием речи, непосредственными слушателями и конечными адресатами речи,

Нет, поэтому, и тех ораторских извращений, которые рождаются из подобных резервов.

Наоборот, оратор всегда находится в своей стихии. Он может и должен облекать свою речь в слова, требуемые тою же аудиториею, для которой предназначено и содержание.

И достаточно послушать любую речь Зиновьева, достаточно проследить, как воспринимает ее и реагирует на нее аудитория, чтобы понять, что в этом совпадении—несокрушимая ораторская мощь.

Наконец, последний признак, существенный для характеристики красноречия, т. е. пропорция между „потому что“ и „для того, чтобы“, естественно мог получить и получил свое адекватное осуществление лишь у ораторов Октябрьской революции. Ибо их цели масс, их причины—те же причины,

которые заставляют трепетать и напрягаться чувство и волю масс. И живя одною жизнью с массами, эти ораторы могут и неизбежно должны выявлять в своих речах ту пропорцию между целями и причинами, которая приемлема для жадно слушающей массы. Чувствуя и зная настроения и уровень массовой аудитории, эти ораторы не имеют никакой надобности руководствоваться какими либо другими соображениями в построении своей „пропорции“. Им не приходится ни прикрывать ни прикрашивать свои цели, ни навязывать массе чуждые ей причины. Им остается только учитывать состояние аудитории. Великая сила ораторского искусства Троцкого— в той изумительной верности, с которою он находит нужную пропорцию между „для того, чтобы“ и „потому что“.

Ораторы Октябрьской революции могут, конечно, грешить против законов красноречия. Но эти грехи—всегда будут только суб‘ективного происхождения. Больший или меньший ораторский талант и темперамент, степень нервного под‘ема или, наоборот, нервной усталости, более правильная или более ошибочная оценка аудитории, более или менее глубокий анализ действительности, большая или меньшая изысканность стиля—вот что обусловливают индивидуальные качества того или иного из наших ораторов, той или иной его речи.

Но об‘ективные предпосылки для полного осуществления ораторских задач—налицо.

Они созданы Октябрьской революцией, которая освободила от жесткого гнета и массы, и все то, что для масс предназначено. Октябрь разорвал путы, извращавшие и уродовавшие пути ораторского слова.

Октябрь дал политическому красноречию подлинную свободу и подлинный смысл.

Октябрь открыл новую эру для политического красноречия, ибо он открыл ее для всей общественной жизни, для всех человеческих достижений.

В книге жизни для каждой главы Октябрь открыл новую великую страницу.

А. Гурович.

Октябрь 1924 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ВЫШЛИ из ПЕЧАТИ:

Н. Ленин—Этапы рабочего и проф. движения в России. Сборник статей и речей, с предисловием тов. Лядова. . . . 2 р. 20 к.

И. Сталин—Метод Ленинизма. . . . 5 к.

„ —Крестьянский вопрос. . . . 8 к.

„ —О теории. . . . 9 к.

„ —Национальный вопрос. . . . 8 к.

„ —Октябрьская революция и тактика русских коммунист. . . 20 к.

Л. Каменев—Дело Ильича . . . 15 к.

„ —Меньшевики разрывают с революцией . . . 32 к.

„ —Лондонский С‘езд РСДРП 1907 г. . . . 14 к.

„ —Ликвидация гегемонии пролетариата в меньшевистской истории русской революции . . . 18 к.

Г. Зиновьев—Коминтерн молодежи и его задачи . . . 8 к.

ХРЕСТОМАТИЯ ЛЕНИНИЗМА

для руководителей партшкол и ВУЗОВ,

под редакцией С. Гопнер и Э. Квиринга.

Цена 4 руб.

В. Чубарь—Советская Украина . . . 40 к.

К. Киркиж.—Комсомол и троцкизм . . . 27 к.

Д. Лебедь.—Село и город . . . 35 к.

Программа и Устав РЛКСМ и Ленин—Задачи комсомола . . 12 к.

Манифест VI С‘езда РЛКСМ . . . 9 к.

Д. Эрде—Ленин и неграмотность . . . 45 к.

Як. Окунев—Откуда взялся бог . . . 25 к.

С. Красковский—Марс (популярная монография) . . . 35 к.

Г. Трофимов—Комсомольская ячейка на производстве . . 22 к.

Ф. Энгельс—Происхождение семьи, частной собственности и госуд. 6[illegible] к.

С. Моносов—Якобинский Клуб . . . 90 к.

ЦЕНА 1 РУБ.



СКЛАД ИЗДАНИЙ:

Харьков, ул. Свободной Академии 5. Тел. 10—07.

Москва, Петровские линии 1/20. Тел. 3—01—99.

